ИОСИФ БРОДСКИЙ

БОГ СОХРАНЯЕТ ВСЕ

ИОСИФ БРОДСКИЙ

БОГ
СОХРАНЯЕТ
ВСЕ

ИОСИФ БРОДСКИЙ

БОГ
СОХРАНЯЕТ
ВСЕ

«МИФ»

Москва, 1992

Состав, предисловие и примечания Виктора Куллэ
Редактор — Виктор Куллэ
Художник — Петр Барбаринский

В оформлении книги использованы рисунки Иосифа Бродского из собраний Е.Б.Рейна, М.Б.Мейлаха, М.И.Мильчика, подобранные М.И.Мильчиком.

На суперобложке — картина Карла Вейлинка (Нидерланды) "Ландшафт с опрокинутой статуей" (1942).

Редакция благодарит Эдуарда Безносова, Томаса Венцлова, Кейса Верхейла, Якова Гордина, Ромаса Котильоса, Михаила Мильчика, чье доброе участие сделало возможным выход этой книги.

В книгу лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского наряду с широко известными стихотворениями вошли тексты, еще не опубликованные ни в России, ни на Западе. Впервые собраны выполненные Бродским переводы Джона Донна, Константина Кавафи, Циприана Норвида, Роберта Лоуэлла, лауреатов Нобелевской премии Чеслава Милоша и Сальваторе Квазимодо и многих других. Построенная в форме высокого диалога с предшественниками и современниками, книга позволяет заглянуть в мастерскую поэта, проследить его генеалогию. Публикуемые впервые авторские рисунки Иосифа Бродского из частных собраний открывают еще одну грань его таланта.

ISBN 5 — 87214 — 007 — X

"...ТАМ, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИ, ТЫ НАЧИНАЕШЬ"

Имя Иосифа Александровича Бродского уже, слава Богу, не нуждается в каком бы то ни было представлении отечественному читателю. Речь поэтому пойдет о структуре и особенностях предлагаемой книги. В ней, наряду с известными, успевшими стать классикой стихотворениями Нобелевского лауреата, представлен многолетний опыт работы Бродского-переводчика. Эта, впервые предпринимаемая, попытка собрать воедино переводы, выполненные за более чем тридцатилетний период, обусловлена не дурной академической тягой к публикации всего написанного любимым автором, но — скорее — очередной попыткой разобраться в его генеалогии.

Перечисляя заслуги Бродского перед отечественной поэзией, большинство толкователей упоминают прежде всего органическое освоение опыта поэзии англо-американской. Сам автор в многочисленных эссе и интервью выводит свою "нейтральную интонацию" и, ставшее личным клеймом, "чувство перспективы" из знакомства с творчеством Фроста и Одена. Это, несомненно, верно только отчасти. Настоящая книга свидетельствует, что творческая экспансия Бродского не ограничивается рамками английского языка. Уникальность его опыта, по мнению автора данных строк, прежде всего в несколько непривычной для нашей культуры открытости ВСЕМУ опыту мировой Поэзии, осознаваемой как единый живой организм. А это требует от стихотворца не только необходимых навыков стоицизма, но и какого-то особого качества внутренней свободы. За этим стоит тайна.

Обращаясь к началу своего пути, Бродский вспоминал: "Это дух соревнования. Сначала написать лучше, чем, скажем, пишут те, кого ты знаешь, твои друзья; потом лучше (то есть, может быть, лучше и не получалось, но казалось иногда, что получается), чем, скажем, у Пастернака или Мандельштама... то есть ты сражаешься со всей русской поэзией; может быть, не столько сражаешься — просто там, где они кончили, ты начинаешь." Это "написать лучше" — т.е. приоритет эстетического — обусловило весь его последующий опыт. В конце пятидесятых Бродский, еще без особых на

то оснований, но уже, вероятно, с неким предчувствием грядущей судьбы, пришел в поэзию как хозяин в только что приобретенный дом. Не суетясь, по-хозяйски, он изучает все закоулки этого дома, прикидывает как расставить мебель, где провести перепланировку, где — ремонт. Удивительно, но его как будто не страшит ни возможность впасть в рабскую зависимость, ни само сопоставление с великими: “там, где они кончили, ты начинаешь”. Время показало, что его спокойная уверенность была небезосновательной.

Тот же механизм преемственности прослеживается и в освоении Бродским опыта мировой поэзии. Переводы, собранные в этой книге, там и сям, иногда спустя изрядное количество лет, аукаются с его оригинальными стихотворениями. Идеальной иллюстрацией этого механизма является сопоставление “Письма” Умберто Саба со стихотворением “Одиссей Телемаку” — Бродский как бы дописывает упомянутые в тексте Саба стихи.

Внимательный читатель, безусловно, заметит связь переводов Кавафи с “Римским циклом”, оценит изящество “Бабочки”, залетевшей в нашу поэзию не без помощи английских “метафизиков”, обрадуется, услышав в “Колыбельной трескового мыса” отголоски Лоуэлла, изумится глубине и интенсивности диалога между Бродским и Венцловой. Не будем продолжать этот перечень. Пусть каждая замеченная параллель станет для читателя маленьким личным открытием. И если сумма этих открытий поможет расслышать движение таинственных токов по стволу единого древа Поэзии, мы сможем сказать слова благодарности тому, кто в ней вряд ли нуждается.

Виктор Куллэ

I. POST AETATEM NOSTRAM

* * *

Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя, одна твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.

1961

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

На Карловом мосту ты улыбнешься,
переезжая к жизни еженощно
вагончиками пражского трамвая,
добра не зная, зла не забывая.

На Карловом мосту ты снова сходишь,
и говоришь себе, что снова хочешь
пойти туда, где город вечерами
тебе в затылок светит фонарями.

На Карловом мосту ты снова сходишь,
прохожим в лица пристально посмотришь,
который час кому-нибудь ответишь,
но больше на мосту себя не встретишь.

На Карловом мосту себя запомни:
тебя уносят утренние кони.
Скажи себе, что надо возвратиться.
Скажи, что уезжаешь за границу.

Когда опять на родину вернешься,
плывет по Влтаве желтый пароходик.
На Карловом мосту ты улыбнешься
и крикнешь мне: печаль твоя проходит.

Я говорю, а ты меня не слышишь.
Не крикнешь, нет, и слова не напишешь,
ты мертвых глаз теперь не поднимаешь
и мой, живой, язык не понимаешь.

На Карловом мосту — другие лица.
Смотри, как жизнь, что без тебя продлится,
бормочет вновь, спешит за часом час...
Как смерть, что продолжается без нас.

1961

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый Год, под воскресенье,

плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый Год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

1962

* * *

М.Б.

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж; и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

1962

БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ

Джон Донн уснул, уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьях, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, все.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы
средь рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом

под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло все. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
Поодиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло все. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми — к их стыду святому.
Геенна спит, и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все — одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.

И каждый стих с другим как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое — слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло все. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят. Чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.

Но, чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос. Тонок, впрямь игла.
А нити нет... И он так одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко.
"Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей? Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?" — Нет ответа.
"Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг. Не вы ль? Не вы ль?" — Молчанье.
"Не ты ли, Павел? Правда, голос твой

уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?" — Но тишь летит навстречу.
"Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет".
Молчанье. Тишь. "Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж, лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Все крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?"

"Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел также явно светлый Рай
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир — лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд почти совсем не страшен.
И климат там недвижен, в той стране.
Оттуда все как сон больной в истоме.

Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
и только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Все, все вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что все — вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — все станет сном библейским.

Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя придти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но, чу! пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда".

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей

раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас закрыта тучей.
Подобье птиц, душа его чиста;
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас — лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло все. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь — лишь долг певца,
духовная любовь лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод ни лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет:
ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

1963

НА СМЕРТЬ РОБЕРТА ФРОСТА

Значит, и ты уснул.
Должно быть, летя к ручью,
ветер здесь промелькнул,
задув и твою свечу.
Узнав, что смолкла вода,
и сделав над нею круг,
вновь он спешит сюда,
где дым обгоняет дух.

Позволь же, старик, и мне
средь мертвых финских террас
звездам в моем окне
сказать, чтоб их свет сейчас,
который блестит окрест,
сошел бы с пустых аллей,
исчез бы из этих мест
и стал бы всего светлей
в кустах, где стоит блондин,
который ловит твой взгляд,
пока ты идешь один
в потемках... к великим... в ряд.

1963

НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ

М.Б.

1

Во вторник начался сентябрь.
Дождь лил всю ночь.
Все птицы улетели прочь.
Лишь я так одинок и храбр,
что даже не смотрел им вслед.
Пустынный небосвод разрушен.
Дождь стягивает просвет.
Мне юг не нужен.

2

Тут, захороненный живьем,
я в сумерках брожу жнивьем.
Сапог мой разрывает поле
(бушует надо мной четверг),
но срезанные стебли лезут вверх,
почти не ощущая боли.
А прутья верб,
вонзая розоватый мыс
в болото, где снята охрана,
бормочут, опрокидывая вниз
гнездо жулана.

3

Стучи и хлюпай, пузырись, шурши.
Я шаг свой не убыстрю.
Известную тебе лишь искру
гаси, туши.
Замерзшую ладонь прижав к бедру,
бреду я от бугра к бугру,

без памяти, с одним каким-то звуком,
подошвой по камням стучу.
Склоняясь к темному ручью,
гляжу с испугом.

4

Что ж, пусть легла бессмысленности тень
в моих глазах, и пусть впиталась сырость
мне в бороду, и кепка — набекрень —
венчая этот сумрак, отразилась,
как та черта, которую душе
не перейти —
я не стремлюсь уже
за козырек, за пуговку, за ворот,
за свой сапог, за свой рукав.
Лишь сердце вдруг забьется, отыскав,
что где-то я пропорот. Холод
трясет его, мне в грудь попав.

5

Бормочет предо мной вода,
и тянется мороз в прореху рта.
Иначе и не вымолвить: чем может
быть не лицо, а место, где обрыв
произошел.
И смех мой крив
и сумрачную гать тревожит.
И крошит темноту дождя порыв.
И образ мой второй, как человек,
бежит от красноватых век,
подскакивает на волне
под соснами, потом под ивняками,
мешается с другими двойниками,
как никогда не затеряться мне.

6

Стучи и хлюпай. Жуй подгнивший мост.
Пусть хляби, окружив погост,
высасывают краску крестовины.
Но даже этак кончикам травы
болоту не прибавить синевы...
Топчи овины,
бушуй среди густой еще листвы.
Вторгайся по корням в глубины
и там, в земле, как здесь, в моей груди,
всех призраков и мертвецов буди.
И пусть они бегут, срезая угол,
по жниву к опустевшим деревням
и машут налетевшим дням,
как шляпы пугал.

7

Здесь на холмах, среди пустых небес,
среди дорог, ведущих только в лес,
жизнь отступает от самой себя
и смотрит с изумлением на формы,
шумящие вокруг. И корни
вцепляются в сапог, сопя,
и гаснут все огни в селе.
И вот бреду я по ничьей земле
и у Небытия прошу аренду.
И ветер рвет из рук моих тепло,
и плещет надо мной водой дупло,
и скручивает грязь тропинки ленту.

8

Да, здесь как будто вправду нет меня.
Я где-то в стороне, за бортом.
Топорщится и лезет вверх стерня,
как волосы на теле мертвом,
и над гнездом, в траве простертом,

вскипает муравьев возня.
Природа расправляется с былым,
как водится. Но лик ее при этом,
пусть залитый закатным светом,
невольно делается злым.
И всею пятернею чувств — пятью
отталкиваюсь я от леса:
нет, Господи! в глазах завеса,
и я не превращусь в судью.
А если — на беду свою —
я все-таки с собой не слажу,
Ты, Боже, отруби ладонь мою,
как финн за кражу.

9

Друг Полидевк! тут все слилось в пятно.
Из уст моих не вырвется стенанье.
Вот я стою в распахнутом пальто,
и мир течет в глаза сквозь решето,
сквозь решето непониманья.
Я глуховат. Я, Боже, слеповат.
Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт
горит луна. Пусть так. По небесам
я курс не проложу меж звезд и капель.
Пусть эхо тут разносит по лесам
не песнь, а кашель.

10

Сентябрь. Ночь. Все общество — свеча.
Но тень еще глядит из-за плеча
в мои листы и роется в корнях
оборванных. И призрак твой в сенях
шуршит и булькает водою
и улыбается звездою
в распахнутых рывком дверях.

11

Темнеет надо мною свет.
Вода затягивает след.
Да, сердце рвется все сильней к тебе,
и оттого оно — все дальше.
И в голосе моем все больше фальши.
Но ты ее сочти за долг судьбе,
за долг судьбе, не требующей крови
и ранящей иглой тупой.
А если ты улыбку ждешь — постой!
Я улыбнусь. Улыбка над собой
могильной долговечней кровли
и легче дыма над печной трубой.

12

Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?
И что здесь подо мной: вода, трава,
отросток лиры вересковой,
изогнутый такой подковой,
что счастье чудится,
такой, что, может быть,
как перейти на иноходь с галопа
так быстро и дыхания не сбить,
не ведаешь ни ты, ни Каллиопа.

1964

СТИХИ НА СМЕРТЬ Т.С. ЭЛИОТА

I

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

Наследство дней не упрекнет в банкротстве
семейство Муз. При всем своем сиротстве,
поэзия основана на сходстве
бегущих вдаль однообразных дней.
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,
она сродни лишь эолийской нимфе,
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме
она другим наверняка видней.

Без злых гримас, без помышленья злого,
из всех щедрот Большого Каталога
смерть выбирает не красоты слога,
а неизменно самого певца.
Ей не нужны поля и перелески,
моря во всем великолепном блеске.
Она щедра, на небольшом отрезке
себе позволив накоплять сердца.

На пустырях уже пылали елки,
и выметались за порог осколки,
и водворялись ангелы на полке.
Католик, он дожил до Рождества.
Но, словно море в шумный час прилива,

за волнолом плеснувши, справедливо
назад вбирает волны — торопливо
от своего ушел от торжества.

Уже не Бог, а только Время, Время
зовет его. И молодое племя
огромных волн его движенья бремя
на самый край цветущей бахромы
легко возносит и, простившись, бьется
о край земли. В избытке сил смеется.
И январем его залив вдается
в ту сушу дней, где остаемся мы.

II

Читающие в лицах, маги, где вы?
Сюда! И поддержите ореол:
две скорбные фигуры смотрят в пол.
Они поют. Как схожи их напевы!
Две девы — и нельзя сказать, что девы:
не страсть, а боль определяет пол.
Одна похожа на Адама впол-
оборота. Но прическа — Евы...
Склоняя лица сонные свои,
Америка, где он родился, и,
и Англия, где умер он, унылы,
стоят по сторонам его могилы.
И туч плывут по небу корабли.

Но каждая могила — край земли.

III

Аполлон, сними венок.
Положи его у ног
Элиота как предел
для бессмертья в мире тел.

Шум шагов и лиры звук
будут помнить лес вокруг.
Будет памяти служить
только то, что будет жить.

Буду помнить лес и дол.
Будет помнить сам Эол.
Будет помнить каждый злак,
как хотел Гораций Флакк.

Томас Стернс, не бойся коз!
Безопасен сенокос.
Память — если не гранит —
одуванчик сохранит.

Так любовь уходит прочь.
Навсегда. В чужую ночь.
Прерывая крик, слова.
Став незримой, хоть жива.

Ты ушел к другим. Но мы
называем царством тьмы
этот край, который скрыт.
Это ревность так велит!

Будет помнить лес и луг.
Будет помнить все вокруг.
Словно тело — мир не пуст! —
помнит ласку рук и уст.

12.I.1965

ПРОРОЧЕСТВО

М.Б.

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента, в небольшом кругу,
сооруженном самодельной лампой.
Мы будем в карты воевать с тобой
и слушать, как безумствует прибой,
покашливать, вздыхая неприметно,
при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода.
Но выйдет так, как учат пионеры,
что счет пойдет на дни — не на года, —
оставшиеся нам до новой эры.
В Голландии своей, наоборот,
мы разведем с тобою огород
и будем устриц жарить за порогом
и солнечным питаться осьминогом.

Пускай шумит над огурцами дождь,
мы загорим с тобой по-эскимосски,
и с нежностью ты пальцем проведешь
по девственной, нетронутой полоске.
Я на ключицу в зеркало взгляну
и обнаружу за спиной волну
и старый гейгер в оловянной рамке
на выцветшей и пропотевшей лямке.

Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной,
чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,

чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.

Мы будем в карты воевать, и вот
нас вместе с козырями отнесет
от берега извилистость отлива.
И наш ребенок будет молчаливо
смотреть, не понимая ничего,
как мотылек колотится о лампу,
когда настанет время для него
обратно перебраться через дамбу.

1965

EX PONTO.
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ОВИДИЯ В РИМ

Тебе, чьи миловидные черты,
должно быть, не страшатся увяданья,
в мой Рим, не изменившийся, как ты,
со времени последнего свиданья,
пишу я с моря. С моря. Корабли
сюда стремятся после непогоды,
чтоб подтвердить, что это край земли.
И в трюмах их не отыскать свободы.

1965

К ЛИКОМЕДУ, НА СКИРОС

М.Б.

Я покидаю город, как Тезей —
свой лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну — ворковать
в объятьях Вакха.
Вот она, победа!
Апофеоз подвижничества. Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навеки уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудища бессмертны?
И, дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных,
Бог отнимает всякую награду,
тайком от глаз ликующей толпы,
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду — навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он придти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущенье униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться...
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет,
с центральных площадей
и башен.
А для странника — с окраин.

1967

2 Зак. 1585

ФОНТАН

Из пасти льва
струя не журчит и не слышно рыка.
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,
никаких голосов. Неподвижна листва.
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,
и нова.
Пересохли уста,
и гортань проржавела: металл не вечен.
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,
хоронящийся в кущах, в конце хвоста,
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;
из куста
сонм теней
выбегает к фонтану, как львы из чащи.
Окружают сородича, спящего в центре чаши,
перепрыгнув барьер, начинают носиться в ней,
лижут морду и лапы вождя своего. И, чем чаще,
тем темней
грозный облик. И вот
наконец он сливается с ними и резко
оживает и прыгает вниз. И все общество резво
убегает во тьму. Небосвод
прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво
назовет
похищенье вождя —
так как первые капли блестят на скамейке —
назовет похищенье вождя приближеньем дождя.
Дождь спускает на землю косые линейки,
строя в воздухе сеть или клетку для львиной
семейки
без узла и гвоздя.
Теплый
дождь
моросит;

как и льву, им гортань
не остудишь.
Ты не будешь любим и забыт не будешь.
И тебя в поздний час из земли воскресит,
если чудищем был ты, компания чудищ.
Разгласит
твой побег
дождь и снег.
И, не склонный к простуде,
все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.
Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.
Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие
люди
и голубки — в ковчег.

1967

1 СЕНТЯБРЯ

День назывался “первым сентября”.
Детишки шли, поскольку — осень, в школу.
А немцы открывали полосатый
шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,
как ногтем — шоколадную фольгу,
разгладили улан.
                                   Достань стаканы
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.
                                          Снова на ветру
шумят березы и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.
И тучи с громыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.

1967

ОТКРЫТКА ИЗ ГОРОДА К.

Томасу Венцлова

Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещенное в пространство,
пространством вытесняется.
Вода
дробит в зерцале пасмурном руины
Дворца Курфюрста; и, небось, теперь
пророчествам реки он больше внемлет,
чем в те самоуверенные дни,
когда курфюрст его отгрохал.
Кто-то
среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. То — ветер,
как блудный сын, вернулся в отчий дом
и сразу получил все письма.

1967

ГРАФИН

Коньяк в графине цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубает якоря
всему, что неподвижно и статично.

Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки шишками насытясь.
Храпит в буфете русский агроном,
как свыкшийся с распутицею витязь.
Фонтан журчит, и где-то за окном
милуются Юрате и Каститис.

Пустые пляжи чайками живут.
На солнце сохнут пестрые кабины.
За дюнами транзисторы ревут
и кашляют курляндские камины.
Каштаны в лужах сморщенных плывут
почти как гальванические мины.

К чему вся метрополия глуха,
то в дюжине провинций переняли.
Поет апостол рачьего стиха
в своем невразумительном журнале.
И слепок первородного греха
свой образ тиражирует в канале.

Страна, эпоха — плюнь и разотри!
На волнах пляшет пограничный катер.
Когда часы показывают "три"
слышны, хоть заплыви за дебаркадер,
колокола костела. А внутри
на муки Сына смотрит Богоматерь.

И если жить той жизнью, где пути
действительно расходятся, где фланги,
бесстыдно обнажаясь до кости,
заводят разговор о бумеранге,
то в мире места лучше не найти
осенней, всеми брошенной, Паланги.

Ни русских, ни евреев. Через весь
огромный пляж двухлетний археолог,
ушедший в свою собственную спесь,
бредет, зажав фаянсовый осколок.
И если сердце разорвется здесь,
то по-литовски писанный некролог

не превзойдет наклейки с коробка,
где брякают оставшиеся спички.
И солнце, наподобье колобка,
зайдет на удивление синички
на миг за кучевые облака
для траура, а может по привычке.

Лишь море будет рокотать, скорбя
безлично — как бывает у артистов.
Паланга будет, кашляя, сопя,
прислушиваться к ветру, что неистов,
и молча пропускать через себя
республиканских велосипедистов.

ANNO DOMINI

М.Б.

Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках — толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,

но все же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня — мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца —

отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках...
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но, может быть, находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.

Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатье — сплетней,
фигурой умолчанья об отце...
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит, и вижу — Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь беззвучно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на задворках мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натыкаясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.

Январь, 1968 г. Паланга

ДИДОНА И ЭНЕЙ

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море.
                                        Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.
                                А ее любовь
была лишь рыбой — может, и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно, обогнать его, — но он,
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.
                                      Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожащем между пламенем и дымом,
беззвучно распадался Карфаген

задолго до пророчества Катона.

1969

POST AETATEM NOSTRAM

А.Я. Сергееву

I

“Империя — страна для дураков”.
Движенье перекрыто по причине
приезда Императора. Толпа
теснит легионеров — песни, крики;
но паланкин закрыт. Объект любви
не хочет быть объектом любопытства.

В пустой кофейне позади дворца
бродяга-грек с небритым инвалидом
играют в домино. На скатертях
лежат отбросы уличного света,
и отголоски ликованья мирно
шевелят шторы. Проигравший грек
считает драхмы; победитель просит
яйцо вкрутую и щепотку соли.

В просторной спальне старый откупщик
рассказывает молодой гетере,
что видел Императора. Гетера
не верит и хохочет. Таковы
прелюдии у них к любовным играм.

II

ДВОРЕЦ

Изваянные в мраморе сатир
и нимфа смотрят в глубину бассейна,
чья гладь покрыта лепестками роз.

Наместник, босиком, собственноручно
кровавит морду местному царю
за трех голубок, угоревших в тесте
(в момент разделки пирога взлетевших,
но тотчас же попадавших на стол).
Испорчен праздник, если не карьера.

Царь молча извивается на мокром
полу под мощным, жилистым коленом
Наместника. Благоуханье роз
туманит стены. Слуги безучастно
глядят перед собой, как изваянья.
Но в гладком камне отраженья нет.

В неверном свете северной луны,
свернувшись у трубы дворцовой кухни,
бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрят,
как два раба выносят из дверей
труп повара, завернутый в рогожу,
и медленно спускаются к реке.
Шуршит щебенка.
                    Человек на крыше
старается зажать кошачью пасть.

III

Покинутый мальчишкой брадобрей
глядится молча в зеркало — должно быть,
грустя о нем и начисто забыв
намыленную голову клиента.
“Наверно, мальчик больше не вернется”.
Тем временем клиент спокойно дремлет
и видит чисто греческие сны:
с богами, с кифаредами, с борьбой
в гимнасиях, где острый запах пота
щекочет ноздри.
                    Снявшись с потолка,
большая муха, сделав круг, садится

на белую намыленную щеку
заснувшего и, утопая в пене,
как бедные пельтасты Ксенофонта
в снегах армянских, медленно ползет
через провалы, выступы, ущелья
к вершине и, минуя жерло рта,
взобраться норовит на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,
и муха, взвыв от ужаса, взлетает.

IV

Сухая послепраздничная ночь.
Флаг в подворотне, схожий с конской мордой,
жует губами воздух. Лабиринт
пустынных улиц залит лунным светом:
чудовище, должно быть, крепко спит.

Чем дальше от дворца, тем меньше статуй
и луж. С фасадов исчезает лепка.
И если дверь выходит на балкон,
она закрыта. Видимо, и здесь
ночной покой спасают только стены.
Звук собственных шагов вполне зловещ
и в то же время беззащитен; воздух
уже пронизан рыбою: дома
кончаются.
Но лунная дорога
струится дальше. Черная фелукка
ее пересекает, словно кошка,
и растворяется во тьме, дав знак,
что дальше, собственно, идти не стоит.

V

В расклеенном на уличных щитах
“Послании к властителям” известный,

известный местный кифаред, кипя
негодованьем, смело выступает
с призывом Императора убрать
(на следующей строчке) с медных денег.

Толпа жестикулирует. Юнцы,
седые старцы, зрелые мужчины
и знающие грамоте гетеры
единогласно утверждают, что
"такого прежде не было" — при этом
не уточняя, именно чего
"такого":
мужества или холуйства.

Поэзия, должно быть, состоит
в отсутствии отчетливой границы.

Невероятно синий горизонт.
Шуршание прибоя. Растянувшись,
как ящерица в марте, на сухом
горячем камне, голый человек
лущит ворованный миндаль. Поодаль
два скованных между собой раба,
собравшиеся, видно, искупаться,
смеясь, друг другу помогают снять
свое тряпье.
Невероятно жарко;
и грек сползает с камня, закатив
глаза, как две серебряные драхмы
с изображеньем новых Диоскуров.

VI

Прекрасная акустика! Строитель
недаром вшей кормил семнадцать лет
на Лемносе. Акустика прекрасна.
День тоже восхитителен. Толпа,
отлившаяся в форму стадиона,

застыв и затаив дыханье, внемлет
той ругани, которой два бойца
друг друга осыпают на арене,
чтоб, распалясь, схватиться за мечи.

Цель состязанья вовсе не в убийстве,
но в справедливой и логичной смерти.
Законы драмы переходят в спорт.

Акустика прекрасна. На трибунах
одни мужчины. Солнце золотит
кудлатых львов правительственной ложи.
Весь стадион — одно большое ухо.

"Ты падаль!" — "Сам ты падаль" —
"Мразь и падаль!"
И тут Наместник, чье лицо подобно
гноящемуся вымени, смеется.

VII

БАШНЯ

Прохладный полдень.
Теряющийся где-то в облаках
железный шпиль муниципальной башни
является в одно и то же время
громоотводом, маяком и местом
подъема государственного флага.
Внутри же — размещается тюрьма.
Подсчитано когда-то, что обычно —
в сатрапиях, во время фараонов,
у мусульман, в эпоху христианства —
сидело иль бывало казнено
примерно шесть процентов населенья.
Поэтому еще сто лет назад
дед нынешнего цезаря задумал
реформу правосудья. Отменив

безнравственный обычай смертной казни,
он с помощью особого закона
те шесть процентов сократил до двух,
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,
пожизненно. Не важно, совершил ли
ты преступленье или невиновен;
закон, по сути дела, как налог.
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Слепящий блеск хромированной стали.
На сорок третьем этаже пастух,
лицо просунув сквозь иллюминатор,
свою улыбку посылает вниз
пришедшей навестить его собаке.

VIII

Фонтан, изображающий дельфина
в открытом море, совершенно сух.
Вполне понятно: каменная рыба
способна обойтись и без воды,
как та — без рыбы, сделанной из камня.

Таков вердикт третейского суда,
чьи приговоры отличает сухость.

Под белой колоннадою дворца
на мраморных ступеньках кучка смуглых
вождей в измятых пестрых балахонах
ждет появленья своего царя,
как брошенный на скатерти букет —
заполненной водой стеклянной вазы.

Царь появляется. Вожди встают
и потрясают копьями. Улыбки,
объятья, поцелуи. Царь слегка
смущен; но вот удобство смуглой кожи:
на ней не так видны кровоподтеки.

Бродяга-грек зовет к себе мальца.
"О чем они болтают?" — "Кто, вот эти?"
"Ага". — "Благодарят его". — "За что?"
Мальчишка поднимает ясный взгляд:
"За новые законы против нищих".

IX

ЗВЕРИНЕЦ

Решетка, отделяющая льва
от публики, в чугунном варианте
воспроизводит путаницу джунглей.

Мох. Капли металлической росы.
Лиана, оплетающая лотос.

Природа имитируется с той
любовью, на которую способен
лишь человек, которому не все
равно, где заблудиться: в чаще или
в пустыне.

X

ИМПЕРАТОР

Атлет-легионер в блестящих латах,
несущий стражу возле белой двери,
из-за которой слышится журчанье,
глядит в окно на проходящих женщин.
Ему, торчащему здесь битый час,
уже казаться начинает, будто
не разные красавицы внизу
проходят мимо, но одна и та же.

Большая золотая буква М,
украсившая дверь, по сути дела,

лишь прописная по сравненью с той,
огромной и пунцовой от натуги,
согнувшейся за дверью над проточной
водою, дабы рассмотреть во всех
подробностях свое отображенье.

В конце концов, проточная вода
ничуть не хуже скульпторов, все царство
изображеньем этим наводнивших.

Прозрачная, журчащая струя.
Огромный, перевернутый Верзувий,
над ней нависнув, медлит с изверженьем.

Все вообще теперь идет со скрипом.
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!
Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!
И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.
Гладко.

XI

Светильник гаснет, и фитиль чадит
уже в потемках. Тоненькая струйка
всплывает к потолку, чья белизна
в кромешном мраке в первую минуту
согласна на любую форму света.
Пусть даже копоть.
За окном всю ночь
в неполотом саду шумит тяжелый

азийский ливень. Но рассудок — сух.
Настолько сух, что, будучи охвачен
холодным бледным пламенем объятья,
воспламеняешься быстрей, чем лист
бумаги или старый хворост.

Но потолок не видит этой вспышки.

Ни копоти, ни пепла по себе
не оставляя, человек выходит
в сырую темень и бредет к калитке.
Но серебристый голос козодоя
велит ему вернуться.
                                        Под дождем
он, повинуясь, снова входит в кухню
и, снявши пояс, высыпает на
железный стол оставшиеся драхмы.
Затем выходит.
Птица не кричит.

XII

Задумав перейти границу, грек
достал вместительный мешок и после
в кварталах возле рынка изловил
двенадцать кошек (почерней) и с этим
скребущимся, мяукающим грузом
он прибыл ночью в пограничный лес.

Луна светила, как она всегда
в июле светит. Псы сторожевые,
конечно, заливали все ущелье
тоскливым лаем: кошки перестали
в мешке скандалить и почти притихли.
И грек промолвил тихо: "В добрый час,

Афина, не оставь меня. Ступай
передо мной", — а про себя добавил:

“На эту часть границы я кладу
всего шесть кошек. Ни одною больше”.
Собака не взберется на сосну.
Что до солдат — солдаты суеверны.

Все вышло лучшим образом. Луна,
собаки, кошки, суеверье, сосны —
весь механизм сработал. Он взобрался
на перевал. Но в миг, когда уже
одной ногой стоял в другой державе,
он обнаружил то, что упустил:

оборотившись, он увидел море.

Оно лежало далеко внизу.
В отличье от животных, человек
уйти способен от того, что любит
(чтоб только отличиться от животных).
Но, как слюна собачья, выдают
его животную природу слезы:

“О, Таллатта!”...
Но в этом скверном мире
нельзя торчать так долго на виду,
на перевале, в лунном свете, если
не хочешь стать мишенью. Вскинув ношу,
он осторожно стал спускаться вниз,
в глубь континента; и вставал навстречу

еловый гребень вместо горизонта.

1970

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
Перевод заглавия: ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ
Диоскуры. — Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк), в греческой мифологии символ нерасторжимой друж-

бы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей; изображались только боги или их символы; также — мифологические персонажи.
Лемнос. — Остров в Эгейском море, служил и служит местом ссылки.
Верзувий. — От славянского “верзать”.
Таллатта. — (Греч.) море.

* * *

Э.Р.

Второе Рождество на берегу
незамерзающего Понта.
Звезда Царей над изгородью порта.
И не могу сказать, что не могу
жить без тебя— поскольку я живу.
Как видно из бумаги. Существую;
глотаю пиво, пачкаю листву и
топчу траву.

Теперь в кофейне, из которой мы,
как и пристало временно счастливым,
беззвучным были выброшены взрывом
в грядущее, под натиском зимы
бежав на Юг, я пальцами черчу
твое лицо на мраморе для бедных;
поодаль нимфы прыгают, на бедрах
задрав парчу.

Что, боги, — если бурое пятно
в окне символизирует вас, боги —
стремились вы нам высказать в итоге?
Грядущее настало, и оно
переносимо; падает предмет,
скрипач выходит, музыка не длится,
и море все морщинистей, и лица.
А ветра нет.

Когда-нибудь оно, а не — увы —
мы, захлестнет решетку променада
и двинется под возгласы "не надо",
вздымая гребни выше головы,
туда, где ты пила свое вино,
спала в саду, просушивала блузку,
— круша столы, грядущему моллюску
готовя дно.

1971, Ялта

ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Томасу Венцлова

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Вот скромная, приморская страна.
Свой снег, аэропорты, телефоны,
свои евреи. Бурый особняк
диктатора. И статуя певца,
отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,
но знанье географии: южане
здесь по субботам ездят к северянам
и, возвращаясь под хмельком пешком,
порой на Запад забредают — тема
для скетча. Расстоянья таковы,
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,
бесчисленные ангелы на кровлях
бесчисленных костелов; человек
становится здесь жертвой толчеи
или деталью местного барокко.

2. ЛЕНКЛЮС*

Родиться бы сто лет назад
и, сохнущей поверх перины,
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катерины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,

о польских барышнях, к примеру;
дождаться Первой Мировой
и пасть в Галиции — за Веру,
Царя, Отечество, — а нет,
так пейсы переделать в бачки
и перебраться в Новый Свет,
блюя в Атлантику от качки.

3. КАФЕ "НЕРИНГА"

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, под-шафе,
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый круг
замирает поверх черепичных кровель,
и кадык заостряется, точно вдруг
от лица остается всего лишь профиль.

И, веленья щучьего слыша речь,
подавальщица в кофточке из батиста
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.

4. ГЕРБ

Драконоборческий Егорий,
копье в горниле аллегорий
утратив, сохранил досель
коня и меч, и повсеместно
в Литве преследует он честно
другим невидимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,
решил настичь? Предмет погони
скрыт за пределами герба.
Кого? Язычника? Гяура?

Не весь ли мир? Тогда не дура
была у Витовта губа.

5. AMICUM-PHILOSOPHUM DE MELANCHOLIA,
MANIA ET PLICA POLONICA**

Бессонница. Часть женщины. Стекло
полно рептилий, рвущихся наружу.
Безумье дня по мозжечку стекло
в затылок, где образовало лужу.
Чуть шевельнись — и ощутит нутро,
как некто в ледяную эту жижу
обмакивает острое перо
и медленно выводит "ненавижу"
по прописи, где каждая крива
извилина. Часть женщины в помаде
вслух запускает длинные слова,
как пятерню в завшивленные пряди.
И ты в потемках одинок и наг
на простыне, как Зодиака знак.

6. PALANGEN***

Только море способно взглянуть в лицо
небу; и путник, сидящий в дюнах,
опускает глаза и сосет винцо,
как изгнанник-царь без орудий струнных.
Дом разграблен. Стада у него — свели.
Сына прячет пастух в глубине пещеры.
И теперь перед ним — только край земли,
и ступить по водам не хватает веры.

7. DOMINIKAJ****

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,

в ушную раковину Бога
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
— Прости меня.

1971

* Улица в Вильнюсе.
** (Лат.) “Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне”. Название средневековой книги, хранящейся в вильнюсской библиотеке.
*** (Нем.) Паланга.
**** (Лит.) “Доминиканцы” (костел в Вильнюсе).

ЛЮБОВЬ

Я дважды просыпался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва

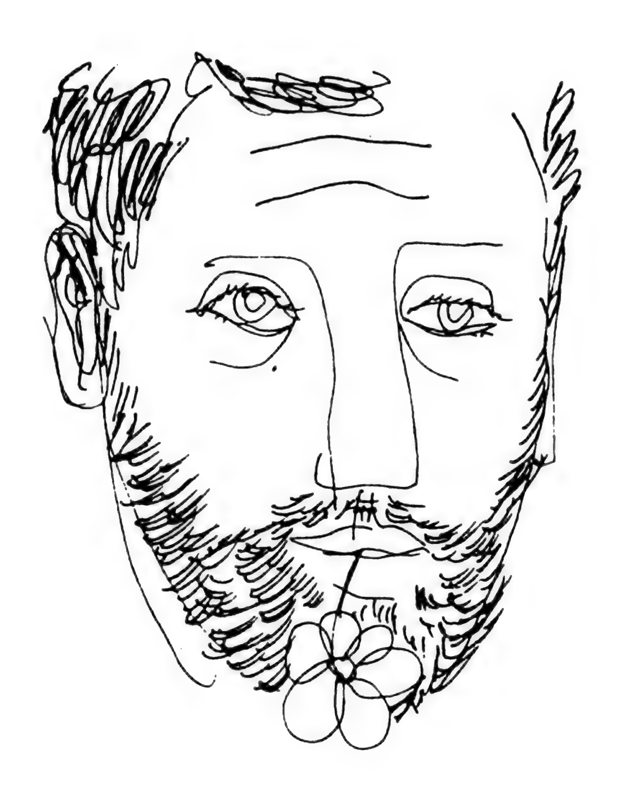
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.

В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.

февраль 1971

II. ПЕРЕМЕНА ИМПЕРИИ



ТОРС

Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.

Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,
взятые из природы или из головы, —
все, что придумал Бог и продолжать устал
мозг, превращено в камень или металл.
Это — конец вещей, это — в конце пути
зеркало, чтоб войти.

Встань в свободную нишу и, закатив глаза,
смотри, как проходят века, исчезая за
углом, и как в паху прорастает мох
и на плечи ложится пыль — этот загар эпох.
Кто-то отколет руку, и голова с плеча
скатится вниз, стуча.

И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным когтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит
через дорогу, чтоб не придти в нору
в полночь. Ни поутру.

1972

ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ

Из Марциала

Нынче ветрено и волны с перехлестом.
        Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
        чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела —
        дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
        ни объятье невозможно, ни измена!

Посылаю тебе, Постум, эти книги.
        Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
        Все интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.
        Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
        лишь согласное гуденье насекомых.

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
        был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
        он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
        Он в сражениях Империю прославил.
Сколько раз могли убить! а умер старцем.
        Даже здесь не существует, Постум, правил.

---

3 Зак. 1585

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
    но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
    лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.
    Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники — ворюги?
    Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Этот ливень переждать с тобой, гетера,
    я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела
    все равно, что дранку требовать у кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
    Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
    он и будет протекать на покрывало.

Вот и прожили мы больше половины.
    Как сказал мне старый раб перед таверной:
“Мы, оглядываясь, видим лишь руины”.
    Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
    Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?
    Неужели до сих пор еще воюем?

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
    Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
    Жрица, Постум, и общается с богами.

EVTERP

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.

Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

март 1972

БАБОЧКА

I

Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца! едва
могу произнести
"жила" — единство даты
рожденья и когда ты
в моей горсти
рассыпалась, меня
смущает вычесть
одно из двух количеств
в пределах дня.

II

Затем что дни для нас —
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь
и пищей глаз
не сделаешь: они
на фоне белом,
не обладая телом,
незримы. Дни,
они как ты; верней,
что может весить
уменьшенный раз в десять
один из дней?

III

Сказать, что вовсе нет
тебя? Но что же

в руке моей так схоже
с тобой? и цвет —
не плод небытия.
По чьей подсказке
и так кладутся краски?
Навряд ли я,
бормочущий комок
слов, чуждых цвету,
вообразить бы эту
палитру смог.

IV

На крылышках твоих
зрачки, ресницы —
красавицы ли, птицы —
обрывки чьих,
скажи мне, это лиц
портрет летучий?
Каких, скажи, твой случай
частиц, крупиц
являет натюрморт:
вещей, плодов ли?
и даже рыбной ловли
трофей простерт.

V

Возможно, ты — пейзаж,
и, взявши лупу,
я обнаружу группу
нимф, пляску, пляж.
Светло ли там, как днем?
иль там уныло,
как ночью? и светило
какое в нем
взошло на небосклон?
чьи в нем фигуры?

Скажи, с какой натуры
был сделан он?

VI

Я думаю, что ты —
и то, и это:
звезды, лица, предмета
в тебе черты.
Кто был тот ювелир,
что, бровь не хмуря,
нанес в миниатюре
на них тот мир,
что сводит нас с ума,
берет нас в клещи,
где ты, как мысль о вещи,
мы — вещь сама?

VII

Скажи, зачем узор
такой был даден
тебе всего лишь на день
в краю озер,
чья амальгама впрок
хранит пространство?
А ты — лишает шанса
столь краткий срок
попасть в сачок,
затрепетать в ладони,
в момент погони
пленить зрачок.

VIII

Ты не ответишь мне
не по причине
застенчивости, и не
со зла, и не

затем что ты мертва.
Жива, мертва ли —
но каждой Божьей твари
как знак родства
дарован голос для
общенья, пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.

IX

А ты — ты лишена
сего залога.
Но, рассуждая строго,
так лучше: на
кой ляд быть у небес
в долгу, в реестре.
Не сокрушайся ж, если
твой век, твой вес
достойны немоты:
звук — тоже бремя.
Бесплотнее, чем время,
беззвучней ты.

X

Не ощущая,. не
дожив до страха,
ты вьешься легче праха
над клумбой, вне
похожих на тюрьму
с ее удушьем
минувшего с грядущим,
и потому,
когда летишь на луг,
желая корму,
приобретает форму
сам воздух вдруг.

XI

Так делает перо,
скользя по глади
расчерченной тетради,
не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверясь
толчкам руки,
в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плечь.

XII

Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель — не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы.

XIII

Сказать тебе "Прощай"
как форме суток?
Есть люди, чей рассудок
стрижет лишай
забвенья; но взгляни:
тому виною
лишь то, что за спиною

у них не дни
с постелью на двоих,
не сны дремучи,
не прошлое — но тучи
сестер твоих!

XIV

Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все на сто
ты родственна ему.
В твоем полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.

1972

ОДИССЕЙ ТЕЛЕМАКУ

Мой Телемак,
                         Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь, и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

1972

ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ — ОПЫТА

On a cloud I saw a child,
and he laughing said to me...
*W.Blake**

1

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,
не ходить в пальто, но в одной рубашке.
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,
мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.
То, что нам приснится, и станет явью.
Мы полюбим всех, и в ответ — они нас.
Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмем себе дев с глазами
дикой лани; а если мы девы сами,
то мы юношей стройных возьмем в супруги
и не будем чаять души друг в друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,
мы, смеясь, свои совершим ошибки.
И тогда живущие на покое
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

2

Наши мысли длинней будут с каждым годом.
Мы любую болезнь победим иодом.

---

* ...Дитя на облачке узрел я,
оно мне молвило, смеясь...
Вильям Блейк

Наши окна завешены будут тюлем,
    а не забраны черной решеткой тюрем.

Мы с приятной работы вернемся рано.
Мы в кино не спустим глаза с экрана.
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.
    Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,
целиком из железа и с полным баром.
Мы взойдем на борт и получим визу,
    и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире
с временами года, числом четыре,
перемножив и баки залив горючим,
    двадцать мест поехать куда получим.

3

Соловей будет петь нам в зеленой чаще.
Мы не будем думать о смерти чаще,
чем ворона в виду огородных пугал.
    Согрешивши, мы сами и станем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,
в окружении внуков и внучек. Если
их не будет, дадут посмотреть соседи
    в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть так же плохо,
как вчера, и слово сие писати
    в tempi следует нам passati.

Потому что душа существует в теле,
жизнь будет лучше, чем мы хотели.
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,
    ибо так вкуснее; нам так сказали.

Hear the voice of the Bard!
*W.Blake**

1

Мы не пьем вина на краю деревни.
Мы не ладим себя в женихи царевне.
Мы в густые щи не макаем лапоть.
    Нам смеяться стыдно и скушно плакать.

Мы дугу не гнем пополам с медведем.
Мы на сером волке вперед не едем,
и ему не встать, уколовшись шприцем
    или оземь грянувшись, стройным принцем.

Зная медные трубы, мы в них не трубим.
Мы не любим подобных себе, не любим
тех, кто сделан был из другого теста.
    Нам не нравится время, но чаще — место.

Потому что север далек от юга,
наши мысли цепляются друг за друга.
Когда меркнет солнце, мы свет включаем,
    завершая вечер грузинским чаем.

2

Мы не видим всходов из наших пашен.
Нам судья противен, защитник страшен.
Нам дороже свайка, чем матч столетья.
    Дайте нам обед и компот на третье.

Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.
Мы боимся короны во лбу лягушки,

---

* Внемлите глас певца!
Вильям Блейк

бородавок на пальцах и прочей мрази.
  Подарите нам тюбик хорошей мази.

Нам приятней глупость, чем хитрость лисья.
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.
И, когда их срывает Борей до срока,
  ничего не чувствуем, кроме шока.

Потому что тепло переходит в холод,
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.
Не рассудок наш, а глаза ослабли,
  чтоб искать отличье орла от цапли.

3

Мы боимся смерти, посмертной казни.
Нам знаком при жизни предмет боязни:
пустота вероятней и хуже ада.
  Мы не знаем, кому нам сказать "не надо".

Наши жизни, как строчки, достигли точки.
В изголовьи дочки в ночной сорочке
или сына в майке не встать нам снами.
  Наша тень длиннее, чем ночь перед нами.

То не колокол бьет над угрюмым вечем!
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.
  Дайте нам припасть напоследок к фляге.

Почему все так вышло? И будет ложью
на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
  Мы платили за всех, и не нужно сдачи.

1972

СРЕТЕНЬЕ

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
    Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
    в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
    в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
    покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
    Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
    дитя: он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем." — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
    Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
    что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие..."
    И старец сказал, повернувшись к Марии:

"В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
    И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
    в сердцах человеков, как некое око."

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
    Он шел, уменьшаясь в значеньи и теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
    к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
    но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
    врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
    Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
    душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
    Светильник светил, и тропа расширялась.

март 1972

НА СМЕРТЬ ДРУГА

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где на ощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в парднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.

1973

НАД ВОСТОЧНОЙ РЕКОЙ

Боясь расплескать, проношу головную боль
в сером свете зимнего полдня вдоль
оловянной реки, уносящей грязь к океану,
разделившему нас с тем размахом, который глаз
убеждает в мелочных свойствах масс.
Как заметил гном великану.

В на-попа поставленном царстве, где мощь крупиц
выражается дробью подметок и взглядом ниц,
испытующим прочность гравия в Новом Свете,
все, что помнит твердое тело pro
vita sua — чужого бедра тепло
да сухой букет на буфете.

Автостадо гремит; и глотает свой кислород,
схожий с локтем на вкус, углекислый рот;
свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке.
Голова болит, голова болит.
Ветер волосы шевелит
на больной голове моей в буром парке.

1974

ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К МАРИИ СТЮАРТ

1974

1

Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?
И Люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и в пруды.
Где встретил вас. И в силу этой встречи,
и так как "все былое ожило
в отжившем сердце", в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу что осталось русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.

2

В конце большой войны не на живот,
когда что было жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет
назад в "Спартак", в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная — брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.

3

Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад-
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм синеет в зелени, усат,
фонтан мурлычит, дети голосят,
и обратиться не к кому с "иди на".
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг,
французских королев во время оно.
Безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит как помесь Пантеона
со знаменитой "Завтрак на траве".

4

Красавица, которую я позже
любил сильней, чем Босуэла — ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически "о, Боже",
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,

я пересек другую — горизонта,
чье лезвие, Мари, острей ножа.
Над этой вещью голову держа
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.

5

Число твоих любовников, Мари,
превысило собою цифру три,
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
Нет для короны большего урона,
чем с кем-нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна).
И с этой точки зренья ни на пядь
не сдвинете шотландского барона.
Твоим шотландцам было не понять,
чем койка отличается от трона.
В своем столетьи белая ворона,
для современников была ты блядь.

6

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее: виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими ——— но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды -
коснуться — "бюст" зачеркиваю — уст!

7

Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового — концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать — ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши "как живешь?"

В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы — праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордоворот в косоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.

8

На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном
и я бы отвечал тебе "Alas".

Шотландия нам стала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.

9

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. "Ты кто такой?" — "А сам ты?"
"Я кто такой?" — "Да, ты". — "Мы протестанты".
"А мы католики". — "Ах вот как!" Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрязг.
Потом — зима, узорчатые санки,
примерка шали: "Где это — Дамаск?"
"Там, где самец-павлин прекрасней самки".
"Но даже там он не проходит в дамки"
(за шашками — передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.

Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И все сливается в их волчьем вое.

10

Осенний вечер. Якобы с Каменой.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера
все в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
в посадском, молью траченом жакете.

11

Лязг ножниц, ощущение озноба.
Рок, жадный до каракуля с овцы,
что брачные, что царские венцы
снимает с нас. И головы особо.
Прощай, юнцы, их гордые отцы,
разводы, клятвы верности до гроба.
Мозг чувствует, как башня небоскреба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьет один, забуревают — оба.
Никто не прокричал тебе "Атас!"
И ты не знала "я одна, а вас",
глуша латынью потолок и Бога,
увы, Мари, как выговорить "много".

12

Что делает Историю? — Тела.
Искусство? — Обезглавленное тело.
Взять Шиллера: Истории влетело
от Шиллера. Мари, ты не ждала,
что немец, закусивши удила,
поднимет старое, по сути, дело:
ему-то вообще какое дело,
кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,
наш Фридрих сам страшился топора.
А во-вторых, скажу тебе, на свете
ничем (вообрази это), опричь
Искусства, твои стати не постичь.
Историю отдай Елизавете.

13

Баран трясет кудряшками (они же
— руно), вдыхая запахи травы.
Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
В тот день их речи были таковы:
“Ей отрубили голову. Увы.”
“Представьте, как рассердятся в Париже.”
“Французы? Из-за чьей-то головы?
Вот если бы ей тяпнули пониже..."
“Так не мужик ведь. Вышла в неглиже.”
“Ну, это, как хотите, не основа...”
“Бесстыдство! Как просвечивала жэ!”
“Что ж, платья, может, не было иного.”
“Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
звучит как баба в каждом падеже."

14

Любовь сильней разлуки, но разлука
длинней любви. Чем статнее гранит,
тем явственней отсутствие ланит
и прочего. Плюс запаха и звука.
Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:
на то и камень (это ли не мука?),
но то, что страсть, как Шива шестирука,
бессильна — юбку он не извинит.

Не от того, что сколько утекло
воды и крови (если б голубая!),
но от тоски расстегиваться врозь
воздвиг бы я не камень, но стекло,
Мари, как воплощение гудбая
и взгляда, проникающего сквозь.

15

Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не "ты" и "вы", смешавшиеся в "ю";
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что — за печатями семью —
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.
Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.

16

Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и с на ночь глядя залитым пожаром
багровый лес незримому курлы
беззвучно внемлет порами коры;
лай сеттера, встревоженного шалым
сухим листом, возносится к Стожарам,
смотрящим на озимые бугры.

Немногое, чем блазнилась слеза,
сумело уцелеть от перехода
в сень перегноя. Вечному перу
из всех вещей, бросавшихся в глаза,
осталось следовать за временами года,
петь на-голос "Унылую Пору".

17

То, что исторгло изумленный крик
из английского рта, что к мату
склоняет падкий на помаду
мой собственный, что отвернуть на миг
Филиппа от портрета лик
заставило и снарядить Армаду,
то было ——— не могу тираду
закончить ——— в общем, твой парик,
упавший с головы упавшей,
(дурная бесконечность), он,
твой суть единственный поклон,
пускай не вызвал рукопашной
меж зрителей, но был таков,
что поднял на ноги врагов.

18

Для рта, проговорившего "прощай"
тебе, а не кому-нибудь, не все ли
одно, какое хлебово без соли
разжевывать впоследствии. Ты, чай,
привычная к не-доремифасоли.
А если что не так — не осерчай:
язык, что крыса, копошится в соре,
выискивает что-то невзначай.

Прости меня, прелестный истукан.
Да, у разлуки все-таки не дура
губа (хоть часто кажется — дыра):
меж нами — вечность, также — океан.
Причем, буквально. Русская цензура.
Могли бы обойтись без топора.

19

Мари, теперь в Шотландии есть шерсть
(все выглядит как новое из чистки).
Жизнь бег свой останавливает в шесть,
на солнечном не сказываясь диске.
В озерах — и по-прежнему им несть
числа — явились монстры (василиски).
И скоро будет собственная нефть,
шотландская, в бутылках из-под виски.

Шотландия, как видишь, обошлась.
И Англия, мне думается, тоже.
И ты в саду французском непохожа
на ту, с ума сводившую вчерась.
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
но непохожие на вас обеих.

20

Пером простым — неправда, что мятежным!
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
a) был ли он учеником прилежным,
b) новую для русского среду,
c) слабость к окончаниям падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду.

Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.

ЛИТОВСКИЙ НОКТЮРН: ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА

I

Взбаламутивший море
ветер рвется, как ругань с расквашенных губ,
в глубь холодной державы,
заурядное до-ре-
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб.
Не-царевны-не-жабы
припадают к земле,
и сверкает звезды оловянная гривна.
И подобье лица
растекается в черном стекле,
как пощечина ливня.

II

Здравствуй, Томас. То — мой
призрак, бросивший тело в гостинице где-то
за морями, гребя
против северных туч, поспешает домой,
вырываясь из Нового Света,
и тревожит тебя.

III

Поздний вечер в Литве.
Из костелов бредут, хороня запятые
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах
куры роются клювами в жухлой дресве.
Над жнивьем Жемайтии
вьется снег, как небесных обителей прах.
Из раскрытых дверей
пахнет рыбой. Малец полуголый

4 Зак. 1585

и старуха в платке загоняют корову в сарай.
Запоздалый еврей
по брусчатке местечка гремит балаголой,
вожжи рвет
и кричит залихватски: “Герай!”

IV

Извини за вторженье.
Сочти появление за
возвращенье цитаты в ряды “Манифеста”:
чуть картавей,
чуть выше октавой от странствий вдали.
Потому — не крестись,
не ломай в кулаке картуза:
сгину прежде, чем грянет с насеста
петушиное “пли”.
Извини, что без спросу.
Не пяться от страха в чулан:
то, кордонов за счет, расширяет свой радиус бренность.
Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым,
над Балтийской волной
я жужжу, точно тот моноплан —
точно Дариус и Гиренас,
но не так уязвим.

V

Поздний вечер в Империи,
в нищей провинции.
Вброд
перешедшее Неман еловое войско,
ощетинившись пиками, Ковно в потемки берет.
Багровеет известка
трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как пойманный
лещ.
Вверх взвивается занавес в местном театре.
И выносят на улицу главную вещь,

разделенную на три
без остатка.
Сквозняк теребит бахрому
занавески из тюля. Звезда в захолустье
светит ярче: как карта, упавшая в масть.
И впадает во тьму,
по стеклу барабаня, руки твоей устье.
Больше некуда впасть.

VI

В полночь всякая речь
обретает ухватки слепца;
так что даже “отчизна” на ощупь — как Леди Годива.
В паутине углов
микрофоны спецслужбы в квартире певца
пишут скрежет матраца и всплески мотива
общей песни без слов.
Здесь панует стыдливость. Листва, норовя
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,
возмущает фонарь. Отменив рупора,
миру здесь о себе возвещают, на муравья
наступив ненароком, невнятной морзянкой
пульса, скрипом пера.

VII

Вот откуда твои
щек мучнистость, безадресность глаза,
шепелявость и волосы цвета спитой,
тусклой чайной струи.
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза
на пути к запятой.
Вот откуда моей,
как ее продолжение вверх, оболочки
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы
ивняка и т.п., очертанья морей,
их страниц перевернутость в поисках точки,
горизонта, судьбы.

VIII

Наша письменность, Томас! с моим, за поля
выходящим сказуемым! с хмурым твоим домоседством
подлежащего! Прочный, чернильный союз,
кружева, вензеля,
помесь литеры римской с кириллицей: цели со средством,
как велел Макроус!
Наши оттиски! в смятых сырых простынях —
этих рыхлых извилинах общего мозга! —
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.
Либо — просто синяк
на скуле мирозданья от взгляда подростка,
от попытки на глаз
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы
до лица, многооко смотрящего мимо,
как раскосый монгол за земной частокол,
чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы —
и, нащупав язык, на манер серафима
переправить глагол.

IX

Мы похожи.
Мы, в сущности, Томас, одно:
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.
Друг для друга мы суть
обоюдное дно
амальгамовой лужи,
неспособной блеснуть.
Покривись — я отвечу ухмылкой кривой,
отзовусь на зевок немотой, раздирающей полость,
разольюсь в три ручья
от стоваттной слезы над твоей головой.
Мы — взаимный конвой,
проступающий в Касторе Поллукс,
в просторечьи — ничья,
пат, подвижная тень,

приводимая в действие жаркой лучиной,
эхо возгласа, сдача с рубля.
Чем сильней жизнь испорчена, тем
мы в ней неразличимей
ока праздного для.

X

Чем питается призрак? Отбросами сна,
отрубями границ, шелухою цифири:
явь всегда норовит сохранить адреса.
Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,
желтизну подворотни как сыр простофили
пожирает лиса
темноты. Место, времени мстя
за свое постоянство жильцом, постояльцем,
жизнью в нем, отпирает засов, —
и, эпоху спустя,
я тебя застаю в замусоленной пальцем
сверхдержаве лесов
и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты
и особенно позу: в сырой конопляной
многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди
Мать-Литва засыпает над плесом,
и ты
припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной,
поллитровой груди.

XI

Существуют места,
где ничто не меняется. Это —
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.
Там шлагбаумы на резкость наводит верста.
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.
Там с лица сторожа
моложавей. Минувшее смотрит вперед
настороженным глазом подростка в шинели,

и судьба нарушителем пятится прочь
в настоящую старость с плевком на стене,
с ломотой, с бесконечностью в форме панели
либо лестницы. Ночь
и взаправду граница, где, как татарва,
территориям прожитой жизни набегом
угрожает действительность и, наоборот,
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,
где что веко не спрячет,
то явь печенегом
как трофей подберет.

XII

Полночь. Сойка кричит
человеческим голосом и обвиняет природу
в преступленьях термометра против нуля.
Витовт, бросивший меч и похеривший щит,
погружается в Балтику в поисках броду
к шведам. Впрочем, земля
и сама завершается молом, погнавшимся за,
как по плоским ступенькам, по волнам
убежавшей свободой.
Усилья бобра
по постройке запруды венчает слеза,
расставаясь с проворным
ручейком серебра.

XIII

Полночь в лиственном крае,
в, губернии цвета пальто.
Колокольная клинопись. Облако в виде отреза
на рядно сопредельной державе.
Внизу
пашни, скирды, плато
черепицы, кирпич, колоннада, железо,
плюс обутый в кирзу

человек государства.
Ночной кислород
наводняют помехи, молитва, сообщенья
о погоде, известия,
храбрый Кощей
с округленными цифрами, гимны, фокстрот
болеро, запрещенья
безымянных вещей.

XIV

Призрак бродит по Каунусу. Входит в собор,
выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.
Входит в "Тюльпе", садится к столу.
Кельнер, глядя в упор,
видит только салфетки, огни бакалеи,
снег, такси на углу,
просто улицу. Бьюсь об заклад,
ты готов позавидовать. Ибо незримость
входит в моду с годами — как тела уступка душе,
как намек на грядущее, как маскхалат
Рая, как затянувшийся минус.
Ибо все в барыше
от отсутствия, от
бестелесности: горы и долы,
медный маятник, сильно привыкший к часам,
Бог, смотрящий на все это дело с высот,
зеркала, коридоры,
соглядатай, ты сам.

XV

Призрак бродит бесцельно по Каунусу. Он
суть твое прибавление к воздуху мысли
обо мне, суть пространство в квадрате,
а не
энергичная проповедь лучших времен.
Не завидуй. Причисли

привиденье к родне,
к свойствам воздуха — так же, как мелкий петит,
рассыпаемый в сумраке речью картавой
вроде цокота мух,
неспособный, поди, утолить аппетит
новой Клио, одетой заставой,
но ласкающий слух
обнаженной Урании.
Только она,
Муза точки в пространстве и Муза утраты
очертаний, как скаред — гроши,
в состояньи сполна
оценить постоянство: как форму расплаты
за движенье — души.

XVI

Вот откуда пера,
Томас, к буквам привязанность.
Вот чем
объясняться должно тяготенье, не так ли?
Скрепя
сердце, с хриплым "пора!"
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,
что скрывать — от тебя!
от страницы, от букв,
от — сказать ли! — любви
звука к смыслу, бесплотности — к массе
и свободы к — прости
и лица не криви —
к рабству, данному в мясе,
во плоти, на кости,
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей
мимо дремлющих в нише
местных ангелов:
выше
их и нетопырей.

XVII

Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых лишь
в телескоп! Вычитанья
без остатка! Нуля!
Ты, кто горлу велишь
избегать причитанья,
превышения "ля"
и советуешь сдержанность! Муза, прими
эту арию следствия, петую в ухо причине,
то есть песнь двойнику,
и взгляни на нее и ее до-ре-ми
там, в разреженном чине,
у себя наверху
с точки зрения воздуха.
Воздух и есть эпилог
для сетчатки — поскольку он необитаем.
Он суть наше "домой",
восвояси вернувшийся слог.
Сколько жаброй его ни хватаем,
он успешно латаем
светом взапуски с тьмой.

XVIII

У всего есть предел:
горизонт — у зрачка, у отчаянья — память, для роста —
расширение плеч.
Только звук отделяться способен от тел,
вроде призрака, Томас. Сиротство
звука, Томас, есть речь!
Оттолкнув абажур,
глядя прямо перед собою,
видишь воздух:
в анфас
сонмы тех, кто губою
наследил в нем
до нас.

XIX

В царстве воздуха! В равенстве слога глотку
кислорода! В прозрачных и в сбившихся в облак
наших выдохах! В том
мире, где, точно сны к потолку,
к небу льнут наши "о!", где звезда обретает свой облик,
продиктованный ртом!
Вот чем дышит вселенная. Вот
что петух кукарекал,
упреждая гортани великую сушь!
Воздух — вещь языка.
Небосвод —
хор согласных и гласных молекул,
в просторечии — душ.

XX

Оттого-то он чист.
Нет на свете вещей, безупречней
(кроме смерти самой)
отбеляющих лист.
Чем белее, тем бесчеловечней.
Муза, можно домой?
Восвояси! В тот край,
где бездумный Борей попирает беспечно трофеи
уст. В грамматику без
препинания. В рай
алфавита, трахеи.
В твой безликий ликбез.

XXI

Над холмами Литвы
что-то вроде мольбы за весь мир
раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый
звук плывет над селеньями в сторону Куршской
косы.
То Святой Казимир

с Чудотворным Николой
коротают часы
в ожидании зимней зари.
За пределами веры,
из своей стратосферы,
Муза, с ними призри
на певца тех равнин, в рукотворную тьму
погруженных по кровлю,
на певца усмиренных пейзажей.
Обнеси своей стражей
дом и сердце ему.

1974

ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северо-западный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит — гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля
термометры — словно лары в нише;
стынут, обуздывая пожар
листьев, шпили церквей. Но для
ястреба это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною
— когти в кулак, точно пальцы рук —
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодою, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, ее же
увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть, помесь гнева
с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,
как паденье грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.

Его, который еще горяч!
В черт-те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тявкающей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая “вон,
там!”, видим вверху слезу
ястреба, плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре,

опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,

чья осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски —

бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски: “Зима, зима!”

1975

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА

1975

А.Б.

I

Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикáды
умолкают в траве газонов. Классические цитаты
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно
чернеет, словно бутылка, забытая на столе.
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре,
звякают клавиши Рэя Чарлза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже
зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи,
дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне
лязгают ножницами. Пот катится по лицу.
Фонари в конце улицы, точно пуговицы у
расстегнутой на груди рубашки.

Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство
передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце
замирает на время, но все-таки бьется: кровь,
поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку.
Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку,
и на севере поднимают бровь.

Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль
покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль
продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду.
Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч.,
превращая их не столько в бежавших прочь,
как в пропавших из виду.

Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от
какового еще сильней выступает пот.

То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь
одним — звездою.
Птица, утратившая гнездо, яйцо
на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.
Пахнет мятой и резедою.

II

Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон — хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек черту

и поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икрой

города́. А после сгустился мрак.
Все погасло. Гудела турбина, и ныло темя.
И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперед. И время
шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.

Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.

Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,
как это делает отродясь
плоская вещь: пылясь.

III

Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже
одиночество. Кожа спины благодарна коже
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на
подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск
покрывает костяшки суставов. Мозг
бьется, как льдинка о край стакана.

Духота. На ступеньках закрытой биллиардной некто
вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,
чиркая спичкой. Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
в ожидании вспышки случайных фар
утопает в пышной листве. И надо

всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,
письмена "Кока-Колы". В заросшем саду курзала
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,
шебуршит газетой в литье ограды,
сооруженной, бесспорно, из

спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся на ружье,
Неизвестный Союзный Солдат делается еще
более неизвестным. Траулер трется ржавой
переносицей о бетонный причал. Жужжа,
вентилятор хватает горячий воздух США
металлической жаброй.

Как число в уме, на песке оставляя след,
океан громоздится во тьме, миллионы лет
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко

шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,
будешь долго падать, руки по швам; но не
воспоследует всплеска.

IV

Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,

перемена, связана с колкой дров,
с превращеньем мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу — из твида, в жару — из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем что внутри нас рыба
дремлет), с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упор

в зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пищей.
С сильной матовой белизной
в мыслях — суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвется поведать про

сходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах
те же растения. В облаках
тот же гудящий бомбардировщик,

летящий неведомо что бомбить.
И сильно хочется пить.

V

В городках Новой Англии, точно вышедших из прибоя,
вдоль всего побережья, поблескивая рябою
чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками
стоят в темноте дома, угодивши в сеть
континента, который открыли сельдь
и треска. Ни трески, ни

сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй,
невзирая на то, что было бы проще с датой.
Что касается местного флага, то он украшен
тоже не ими и в темноте похож,
как сказал бы Салливен, на чертеж
в тучи задранных башен.

Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем
горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем,
ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно пуля,
посланная природой из невидимого куста
в самое себя, чтоб выбить одно из ста
в середине июля.

Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль
затухает с годами. Если время играет роль
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,
ставши формой бессонницы: пробираясь пешком и
вплавь,
в полушарьи орла сны содержат дурную явь
полушария решки.

Духота. Неподвижность огромных растений,
далекий лай.
Голова, покачнувшись, удерживает на край
памяти сползшие номера телефонов, лица.

В настоящих трагедиях, где занавес — часть плаща,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.

VI

Потому что поздно сказать "прощай"
и услышать что-либо в ответ, помимо
эха, звучащего как "на-чай"
времени и пространству, мнимо
величавым и возводящим в куб
все, что сорвется с губ,

я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,
на секунду опередить "на кой?",
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.

Я пишу из Империи, чьи края
опускаются под воду. Снявши пробу с
двух океанов и континентов, я
чувствую то же, почти, что глобус.
То есть, дальше некуда. Дальше — ряд
звезд. И они горят.

Лучше взглянуть в телескоп туда,
где присохла к изнанке листа улитка.
Говоря "бесконечность", в виду всегда
я имел искусство деленья литра
без остатка на три при свете звезд,
а не избыток верст.

Ночь. В парфеноне хрипит "ку-ку".
Легионы спят, прислонясь к когортам,
форумы — к циркам. Луна вверху,
как пропавший мяч над безлюдным кортом.

Голый паркет — как мечта ферзя.
Без мебели жить нельзя.

VII

Только затканный сплошь паутиной угол имеет право
именоваться прямым. Только услышав "браво",
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
Только то тело движется, чья нога
перпендикулярна полу.

Духота. Толчея тараканов в амфитеатре тусклой
цинковой раковины перед бесцветной тушей
высохшей губки. Поворачивая корону,
медный кран, словно цезарево чело,
низвергает на них не щадящего ничего
водяную колонну.

Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра.
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила
тяготения вниз, как и плотный инертной массе.
Даже девять-восемьдесят одна, журча,
преломляет себя на манер луча
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,
как упавшая пагода в профиль. И только те
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы: розы.
Если видишь одну, видишь немедля две:
насекомые ползают, в алой жужжа ботве, —
пчелы, осы, стрекозы.

Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.
Запах старого тела острей, чем его очертанья. Трезвость
мысли снижается. Мозг в суповой кости
тает. И некому навести
взгляда на резкость.

VIII

Сохрани на холодные времена
эти слова, на времена тревоги!
Человек выживает, как фиш на песке: она
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,
уходит, как от пера — строка,
в недра материка.

Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс
ангелы в белом и нимфы моря.
Для того, на чьи плечи ложится груз
темноты, жары и — сказать ли — горя,
они разбегающихся милей
от брошенных слов нулей.

Даже то пространство, где негде сесть,
как звезда в эфире, приходит в ветхость.
Но пока существует обувь, есть
то, где можно стоять, поверхность,
суша. И внемлют ее пески
тихой песне трески:

"Время больше пространства. Пространство — вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —
сгустки его. И товар похлеще —
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть.

Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздается слово.
То ли "любить", то ли просто "эй".
Но пока разобрать успеваю, снова
все сменяется рябью слепых полос,
как от твоих волос".

IX

Человек размышляет о собственной жизни, как ночь
о лампе.
Мысль выходит в определенный момент за рамки
одного из двух полушарий мозга
и сползает, как одеяло, прочь,
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,
безусловно, громоздка,

но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.
Понемногу африка мозга, его европа,
азия мозга, а также другие капли
в обитаемом море, осью скрипя сухой,
обращаются мятой своей щекой
к электрической цапле.

Чу, смотри: Аладдин произносит “сезам” — перед ним
золотая груда,
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге
лампы дева качает ногой колыбель; нагой
папуас отбивает одной ногой
на песке буги-вуги.

Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимаешь внезапно в постели, что это — брак:
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навык

наготы. Но при этом — не встать вдвоем.
Потому что пока там — светло, в твоем
полушарьи темно. Так сказать, одного светила
не хватает для двух заурядных тел.
То есть глобус склеен, как Бог хотел.
И его не хватило.

X

Опуская веки, я вижу край
ткани и локоть в момент изгиба.
Местность, где я нахожусь, есть рай,
ибо рай — это место бессилья. Ибо
это одна из таких планет,
где перспективы нет.

Тронь своим пальцем конец пера,
угол стола: ты увидишь, это
вызовет боль. Там, где вещь остра,
там и находится рай предмета;
рай, достижимый при жизни лишь
тем, что вещь не продлишь.

Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.
Сохрани эту речь; ибо рай — тупик.
Мыс, вдающийся в море. Конус.
Нос железного корабля.
Но не крикнуть "Земля!"

Можно сказать лишь, который час.
Это сказав, за движеньем стрелки
тут остается следить. И глаз
тонет беззвучно в лице тарелки,
ибо часы, чтоб в раю уют
не нарушать, не бьют.

То, чего нету, умножь на два:
в сумме получишь идею места.
Впрочем, поскольку они — слова,
цифры тут значат не больше жеста,
в воздухе тающего без следа,
словно кусочек льда.

XI

От великих вещей остаются слова языка, свобода
в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;
также — тело в виду океана в бумажной шляпе.
Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:
на его лице, у него в уме
ничего, кроме ряби.

Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,
осязая хрупкость кости, уязвимость паха,
тело служит в виду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдается во Время.

Восточный конец Империи погружается в ночь —
по горло.
Пара раковин внемлет улиткам его глагола:
то есть, слышит свой собственный голос. Это
развивает связки, но гасит взгляд.
Ибо в чистом времени нет преград,
порождающих эхо.

Духота. Только если, вздохнувши, лечь
на спину, можно направить сухую речь
вверх — в направленьи исконно немых губерний.
Только мысль о себе и о большой стране
вас бросает в ночи от стены к стене,
на манер колыбельной.

Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле — спи.
Спи, как спят только те, кто сделал свое пи-пи.
Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.
И не спрашивай, если скрипнет дверь,
“Кто там?” — и никогда не верь
отвечающим, кто там.

XII

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
Просит пить, естественно, ради Бога.
Не отпустишь прохожего без куска.
И дорогу покажешь ему. Дорога
извивается. Рыба уходит прочь.
Но другая, точь-в-точь

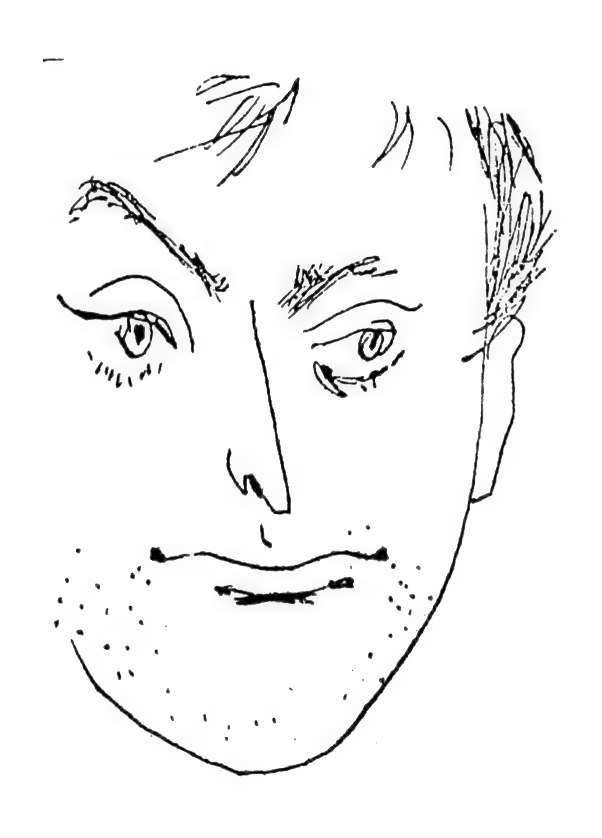
как ушедшая, пробует дверь носком.
(Меж собой две рыбы, что два стакана.)
И всю ночь идут они косяком.
Но живущий около океана
знает, как спать, приглушив в ушах
мерный тресковый шаг.

Спи. Земля не кругла. Она
просто длинна: бугорки, лощины.
А длинней земли — океан: волна
набегает порой, как на лоб морщины,
на песок. А земли и волны длинней
лишь вереница дней.

И ночей. А дальше — туман густой:
рай, где есть ангелы, ад, где черти.
Но длинней стократ вереницы той
мысли о жизни и мысль о смерти.
Этой последней длинней в сто раз
мысль о Ничто; но глаз

вряд ли проникнет туда, и сам
закрывается, чтобы увидеть вещи.
Только так — во сне — и дано глазам
к вещи привыкнуть. И сны те вещи
или зловещи — смотря кто спит.
И дверью треска скрипит.

III. ВЕК СКОРО КОНЧИТСЯ...



ЧАСТЬ РЕЧИ

1975-1976

* * *

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой уважаемый милая, но не важно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим "ты"
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

* * *

Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговорить "впусти".
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится, и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,

все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, “прощай”.

* * *

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

* * *

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском “доброй ночи” уст
не имевших сказать кому.

* * *

Потому что каблук оставляет следы — зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по прохожим себя узнают дома.
Что сказать ввечеру о грядущем, коли
воспоминанье в ночной тиши
о тепле твоих — пропуск — когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.

* * *

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с
плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса
налетают порывы резкого ветра. Голос
старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.
Низвергается дождь; перекрученные канаты
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.
Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады,
как соленый язык за выбитыми зубами.
Одичавшее сердце все еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны, —
                                        в лужице под лежачим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.

5 Зак. 1585

* * *

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос;
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.

* * *

Что касается звезд, то они всегда.
То есть, если одна, то за ней другая.
Только так оттуда и можно смотреть сюда;
вечером, после восьми, мигая.
Небо выглядит лучше без них. Хотя
освоение космоса лучше, если
с ними. Но именно не сходя
с места, на голой веранде, в кресле.
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда,
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не задержишь взгляда.

* * *

В городке, из которого смерть расползалась
по школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лев скучает по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона.
Настоящий конец войны — это на тонкой спинке
венского стула платье одной блондинки
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.

Мюнхен

* * *

Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук,
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,
беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.

* * *

М.Б.

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой там тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

* * *

Тихотворение мое, мое немое,
однако, тяглое — на страх поводьям,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно заполночь ища глазунию
луны за шторами зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там ни размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?

* * *

Темно-синее утро в заиндевевшей раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит "ганнибал" из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,
так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.

* * *

С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скащивая облака,
совпадает — чем бы ни замели
следы — с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.

* * *

Заморозки на почве и облысенье леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,
ежась, число округляешь до “ох ты бля”.
Ты не птица, чтоб улететь отсюда.
Потому что как в поисках милой всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом,
проницаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом,
за бугром в чистом поле на штабель слов
пером кириллицы наколов.

* * *

Всегда остается возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
На пустой голове бриз шевелит ботву,
и улица вдалеке сужается в букву “У”
как лицо к подбородку, и лающая собака
вылетает из подворотни, как скомканная бумага.
Улица. Некоторые дома
лучше других: больше вещей в витринах;
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
то, во всяком случае, не внутри них.

* * *

Итак, пригревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел.
Можно сказать, что на Юге в полях уже
высевают сорго — если бы знать, где Север.
Земля под лапкой грача действительно горяча;
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови,
и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас,
но обмякшее тело и лужу крови.

* * *

Если что-нибудь петь, то перемену ветра,
западного на восточный, когда замерзшая ветка
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
В полдень можно вскинуть ружье и выстрелить в
то, что в поле
кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившимся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. Иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра.

* * *

...и при слове "грядущее" из русского языка
выбегают мыши и все оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
После стольких зим уже безразлично, что
или кто стоит в углу у окна за шторой,
и в мозгу раздается не неземное "до",
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

* * *

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это —
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт. Свобода —
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА

(4 июня 1977)

Падучая звезда, тем паче — астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

*

Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки "А", там поезд на равнине
стремится в точку "Б". Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.
Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат.

Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

*

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.
Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек.
И к звездам до сих пор там запускают жучек
плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Там зелень щавеля смущает зелень лука.
Жужжание пчелы там главный принцип звука.
Там копия, щадя оригинал, безрука.

*

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,
и ребер больше там у пыльной батареи
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее

нащупывает их рукой замерзшей странник.
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.

От дождевой струи там плохо спичке серной.
Там говорят "свои" в дверях с усмешкой скверной.
У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный.

*

Там при словах "я за" течет со щек известка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой дает раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в палисаде.
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

*

Там, лежучи плашмя на рядовой холстине,
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.
Особенно — во сне. И, на манер пустыни,

там сахарный песок пересекаем мухой.
Там города стоят, как двинутые рюхой,
и карта мира там замещена пеструхой,

мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,
ненужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

*

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там вождь бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

*

Я вырос в тех краях. Я говорил “закурим”
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.

Там, думал, и умру — от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.

Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.

*

Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.
Ее затянут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

*

паясничать. Ну что ж! на все свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

*

и без костей язык, до внятных звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком.
На то она судьба, чтоб понимать на всяком

наречьи. Предо мной — пространство в чистом виде.
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

*

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

ПРИЛИВ

I

В северной части мира я отыскал приют,
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют
с криком поверхность рябых зеркал.

Здесь не прийти в себя, хоть запрись на ключ.
В доме — шаром покати, и в станке — кондей.
Окно с утра занавешено рванью туч.
Мало земли, и не видать людей.

В этих широтах панует вода. Никто
пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть: “вон!”
Горизонт себя выворачивает, как пальто,
наизнанку с помощью рыхлых волн.

И себя отличить не в силах от снятых брюк,
от висящей фуфайки — знать, чувств в обрез
либо лампа темнит — трогаешь ихний крюк,
чтобы, руку отдернув, сказать: “воскрес”.

II

В северной части мира я отыскал приют,
между сырым аквилоном и кирпичом,
здесь, где подковы волн, пока их куют,
обрастают гривой и ни на чем

не задерживаются, точно мозг, топя
в завитках перманента набрякший перл.
Тот, кто привел их в движение, на себя
приучить оглядываться не успел!

Здесь кривится губа, и не стоит базлать
про квадратные вещи, ни про свои черты,
потому что прибой неизбежнее, чем базальт,
чем прилипший к нему человек, чем ты.

И холодный порыв затолкает обратно в пасть
лай собаки, не то, что твои слова.
При отсутствии эха, вещь, чтоб ее украсть,
увеличить приходится раза в два.

III

В ветреной части мира я отыскал приют.
Для нее я — присохший ком, но она мне — щит.
Здесь меня найдут, если за мной придут,
потому что плотная ткань завсегда морщит.

В этих широтах цвета дурных дрожжей,
карту избавив от пограничных дрязг,
точно скатерть, составленная из толчеи ножей,
расстилается, издавая лязг.

И, один приглашенный на этот бескрайний пир,
я о нем отзовусь, кости не в пример, тепло,
потому что, как ни считай, я из чаши пил
больше, чем по лицу текло.

Нелюдей от живых хорошо отличать в длину.
Но покуда Борей забираться в скулу горазд
и пока толковище в разгаре, пока волну
давит волна, никто тебя не продаст.

IV

В северной части мира я водрузил кирпич!
Знай, что душа со временем пополам
может все повторить, как попугай, опричь
непрерывности, свойственной местным сырым делам!

Так, кромсая отрез, кравчик кричит: “сукно!”
Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы.
Плюс пустые дома стоят как давным-давно
отвернутые на бану углы.

В ветреной части мира я отыскал приют.
Здесь никто не крикнет, что ты чужой,
убирайся назад, и за постой берут
выцветаньем зрачка, ржавою чешуей.

И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,
как монах либо мусор, обутый в жесть,
и громоздкая письменность с ревом идет на слом,
никому не давая себя прочесть.

V

Повернись к стене и промолви: “я сплю, я сплю”.
Одеяло серого цвета, и сам ты стар.
Может, за ночь под веком я столько снов накоплю,
что наутро море крикнет мне: “наверстал!”

Все равно, на какую букву себя послать,
человека всегда настигает его же храп,
и, в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,
шевелясь, разбираешь, как донный краб.

Вот про что напевал, пряча плавник, лихой
небожитель, прощенного в профиль бледней греха,
заливая глаза на камнях ледяной ухой,
чтобы ты навострился слагать из костей И.Х.

Так впадает — куда, стыдно сказать — клешня.
Так следы оставляет в туче кто в ней парил.
Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,
чтоб по волнам ступать, не держась перил.

РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ

Бенедетте Кравиери

I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.
Под потолком — пыльный хрустальный остров.
Жалюзи в час заката подобны рыбе,
перепутавшей чешую и остов.
Ставя босую ногу на красный мрамор,
тело делает шаг в будущее — одеться.
Крикни сейчас “замри” — я бы тотчас замер,
как этот город сделал от счастья в детстве.
Мир состоит из наготы и складок.
В этих последних больше любви, чем в лицах.
Так и тенор в опере тем и сладок,
что исчезает навек в кулисах.
На ночь глядя, синий зрачок полощет
свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья.
И луна в головах, точно пустая площадь:
без фонтана. Но из того же камня.

II

Месяц замерших маятников (в августе расторопна
только муха в гортани высохшего графина).
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
прожекторам ПВО в поисках серафима.
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
потного двойника в зеркале над комодом,
пчел, позабывших расположенье ульев
и улетевших к морю покрыться медом.
Хлопочи же, струя, над белоснежной, дряблой
мышцей, играй куделью седых подпалин.
Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин.

Да и они в ломаном "р" еврея
узнают себя тоже; только слюнным раствором
и скрепляешь осколки, покамест Время
варварским взглядом обводит форум.

III

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.
Облака вроде ангелов — в силу летучей тени.
Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним
длинноногой подруги. Я, певец дребедени,
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь
в недрах вечного города от светила,
навязавшего цезарям их незрячесть
(этих лучей за глаза б хватило
на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь
полдня. Владелец "веспы" мучает передачу.
Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль
считаю с прожитой жизни сдачу.
И как книга, раскрытая сразу на всех страницах,
лавр шелестит на выжженной балюстраде.
И Колизей — точно череп Аргуса, в чьих глазницах
облака проплывают, как память о бывшем стаде.

IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа
той из них, что прекрасней. Два молодых овала
сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза
объясняет Судьбе то, что надиктовала.
Шорох старой бумаги, красного крепдешина,
воздух пропитан лавандой и цикламеном.
Перемена прически; и локоть — на миг — вершина,
привыкшая к ветреным переменам.
О, коричневый глаз впитывает без усилий
мебель того же цвета, штору, плоды граната.
Он и зорче, он и нежней, чем синий.
Но синему — ничего не надо!
Синий всегда готов отличить владельца
от товаров, брошенных вперемешку
(т.е. время — от жизни), дабы в него вглядеться.
Так орел стремится вглядеться в решку.

V

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.
Тишина уснувшего переулка
обрастает бемолью, как чешуею рыба,
и коричневая штукатурка
дышит, хлопая жаброй, прелым
воздухом августа, и в горячей
полости горла холодным перлом
перекатывается Гораций.
Я не воздвиг уходящей к тучам
каменной вещи для их острастки.
О своем — и о любом — грядущем
я узнал у буквы, у черной краски.
Так задремывают в обнимку
с "лейкой", чтоб, преломляя в линзе
сны, себя опознать по снимку,
очнувшись в более длинной жизни.

VI

Обними чистый воздух, а-ля ветви местных пиний:
в пальцах — не больше, чем на стекле, на тюле.
Но и птичка из туч вниз не вернется синей,
да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.
Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,
выси и проч. брезгают гладью кожи.
Тело обратно пространству, как ни крути педали.
И несчастны мы, видимо, оттого же.
Привались лучше к портику, скинь бахилы,
сквозь рубашку стена холодит предплечье;
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,
как вода, наставница красноречья,
льется из ржавых скважин, не повторяя
ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,
кроме того, что она — сырая
и превращает лицо в руину.

VII

В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви
— так иголка шаркает по пластинке,
забывая остановиться в центре, —
можно смириться с невзрачной дробью
остающейся жизни, с влеченьем прошлой
жизни к законченности, к подобью
целого. Звук, из земли подошвой
извлекаемый, — ария их союза,
серенада, — которую время оно
напевает грядущему. Это и есть Карузо
для собаки, сбежавшей от граммофона.

VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,
трепещи, пригинаем выдохом углекислым,
следуй — не приближаясь! — за вереницей
литер, стоящих в очередях за смыслом.
Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише
— бóльшую площадь, чем покрывает почерк!
Да и копоть твоя воспаряет выше
помыслов автора этих строчек.
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;
вечным пером, в память твоих субтильных
запятых, на исходе тысячелетья, в Риме
я вывожу слова “факел”, “фитиль”, “светильник”,
а не точку — и комната выглядит как в начале.
(Сочиняя, перо мало что сочинило.)
О, сколько света дают ночами
сливающиеся с темнотой чернила!

IX

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.
Ястреб над головой как квадратный корень
из бездонного, как до молитвы, неба.
Свет пожинает больше, чем он посеял:
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.
В этих широтах все окна глядят на Север,
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,
не способная взгляда остановить равнина,
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.
Больше туда не выдвигать кордона.
Только буквы в когорты строит перо на Юге.
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

X

Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.
С помощью мятой куртки и голубой рубахи
что-то еще отражается в зеркале гардероба.
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.
Воздух обложен комнатой, как оброком.
Сойки, вспорхнув, покидают купы
пиний — от брошенного ненароком
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо
тут она безупречна. Так на льду Танаиса
пропадая из виду, дрожа всем телом,
высохшим лавром прикрывши темя,
бредут в лежащее за пределом
всякой великой державы время.

XI

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.
Вы — источник бессмертья: знавшие вас нагими
сами стали катуллом, статуями, траяном,
августом и другими. Временные богини!
Вам приятнее верить, нежели постоянным.
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!
Белый на белом, как мечта казимира,
летним вечером я, самый смертный прохожий
среди развалин, торчащих как ребра мира,
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;
небо бледней щеки с золотистой мушкой.
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

XII

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроящих
мне пустоту, раз она — Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она — везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей — золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.

БЮСТ ТИБЕРИЯ

Приветствую тебя две тыщи лет
спустя. Ты тоже был женат на бляди.
У нас немало общего. К тому ж,
вокруг — твой город. Гвалт, автомобили,
шпана со шприцами в сырых подъездах,
развалины. Я, заурядный странник,
приветствую твой пыльный бюст
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,
тебе здесь нет и тридцати. В лице
уверенность скорей в послушных мышцах,
чем в будущем их суммы. Голова,
отрубленная скульптором при жизни,
есть, в сущности, пророчество о власти.
Все то, что ниже подбородка, — Рим:
провинции, откупщики, когорты
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев — наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги). В результате — бюст
как символ независимости мозга
от жизни тела. Собственного и
имперского. Пиши ты свой портрет,
он состоял бы из сплошных извилин.

Тебе здесь нет и тридцати. Ничто
в тебе не останавливает взгляда.
Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд
готов на чем-либо остановиться:
ни на каком-либо лице, ни на
классическом пейзаже. Ах, Тиберий!
Какая разница, что там бубнят
Светоний и Тацит, ища причины

твоей жестокости! Причин на свете нет,
есть только следствия. И люди жертвы следствий.
Особенно, в тех подземельях, где
все признаются, — даром что признанья
под пыткой, как и исповеди в детстве,
однообразны. Лучшая судьба —
быть непричастным к истине. Понеже
она не возвышает. Никого.
Тем паче цезарей. По крайней мере,
ты выглядишь способным захлебнуться
скорее в собственной купальне, чем
великой мыслью. Вообще — не есть ли
жестокость только ускоренье общей
судьбы вещей? свободного паденья
простого тела в вакууме? В нем
всегда оказываешься в момент паденья.

Январь. Нагроможденье облаков
над зимним городом, как лишний мрамор.
Бегущий от действительности Тибр.
Фонтаны, бьющие туда, откуда
никто не смотрит — ни сквозь пальцы, ни
прищурившись. Другое время!
И за уши не удержать уже
взбесившегося волка. Ах, Тиберий!
Кто мы такие, чтоб судить тебя?
Ты был чудовищем, но равнодушным
чудовищем. Но именно чудовищ —
отнюдь не жертв — природа создает
по своему подобью. Гораздо
отраднее — уж если выбирать —
быть уничтоженным исчадьем ада,
чем неврастеником. В неполных тридцать,
с лицом из камня — каменным лицом,
рассчитанным на два тысячелетья,
ты выглядишь естественной машиной
уничтожения, а вовсе не
рабом страстей, проводником идеи

и прочая. И защищать тебя
от вымысла — как защищать деревья
от листьев с ихним комплексом бессвязно,
но внятно ропщущего большинства.

В безлюдной галерее. В тусклый полдень.
Окно, замызганное зимним светом.
Шум улицы. На качество пространства
никак не реагирующий бюст...
Не может быть, что ты меня не слышишь!
Я тоже опрометью бежал всего
со мной случившегося и превратился в остров
с развалинами, с цаплями. И я
чеканил профиль свой посредством лампы.
Вручную. Что до сказанного мной,
мной сказанное никому не нужно —
и не впоследствии, но уже сейчас.
Не есть ли это тоже ускоренье
истории? успешная, увы,
попытка следствия опередить причину?
Плюс, тоже в полном вакууме — что
не гарантирует большого всплеска.
Раскаяться? Переверстать судьбу?
Зайти с другой, как говорится, карты?
Но стоит ли? Радиоактивный дождь
польет не хуже нас, чем твой историк.
Кто явится нас проклинать? Звезда?
Луна? Осатаневший от бессчетных
мутаций, с рыхлым туловищем, вечный
термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас
на нечто твердое, и он, должно быть,
слегка опешит и прервет буренье.

"Бюст, — скажет он на языке развалин
и сокращающихся мышц, — бюст, бюст".

* * *

М.Б.

То не Муза воды набирает в рот.
То, должно, крепкий сон молодца берет.
И махнувшая вслед голубым платком
наезжает на грудь паровым катком.

И не встать ни раком, ни так словам,
как назад в осиновый строй дровам.
И глазами по наволочке лицо
растекается, как по сковороде яйцо.

Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где — Господь прости —
точно рыба — воздух, сырой губой
я хватал, что было тогда тобой?

Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог "Варяг".

Но, видать, не судьба, и года не те.
И уже седина стыдно молвить — где.
Больше длинных жил, чем для них кровей,
да и мысли мертвых кустов кривей.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него, и потом сотри.

1980

* * *

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980 г.

* * *

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской "Вырица" или "Тарту".
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. "В нашей семье — волнуясь,
ты бы вставила — не было ни военных,
ни великих мыслителей." Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем
тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток —
то есть, извилин! — вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу "умерла, умерла", покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВЕЙЛИНКА

Аде Стрёве

I

Почти пейзаж. Количество фигур,
в нем возникающих, идет на убыль
с наплывом статуй. Мрамор белокур,
как наизнанку вывернутый уголь,
и местность мнится северной. Плато;
гиперборей, взъерошивший капусту.
Все так горизонтально, что никто
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

II

Возможно, это — будущее. Фон
раскаяния. Мести сослуживцу.
Глухого, но отчетливого "вон!".
Внезапного приема джиу-джитсу.
И это — город будущего. Сад,
чьи заросли рассматриваешь в оба,
как ящерица в тропиках — фасад
гостиницы. Тем паче — небоскреба.

III

Возможно также — прошлое. Предел
отчаяния. Общая вершина.
Глаголы в длинной очереди к "л".
Улегшаяся буря крепдешина.
И это — царство прошлого. Тропы,
заглохнувшей в действительности. Лужи,
хранящей отраженья. Скорлупы,
увиденной яичницей снаружи.

IV

Бесспорно — перспектива. Календарь.
Верней, из воспалившихся гортаней
туннель в психологическую даль,
свободную от наших очертаний.
И голосу, подробнее, чем взор,
знакомому с ландшафтом неуспеха,
сподручней выбрать большее из зол
в расчете на чувствительное эхо.

V

Возможно — натюрморт. Издалека
все, в рамку заключенное, частично
мертво и неподвижно. Облака.
Река. Над ней кружащаяся птичка.
Равнина. Часто именно она,
принять другую форму не умея,
становится добычей полотна,
открытки, оправданьем Птоломея.

VI

Возможно — зебра моря или тигр.
Смесь скинутого платья и преграды
облизывает щиколотки икр
к загару неспособной балюстрады,
и время, мнится, к вечеру. Жара;
сняв потный молот с пыльной наковальни,
настойчивое соло комара
кончается овациями спальни.

VII

Возможно — декорация. Дают
“Причины Нечувствительность к Разлуке
со Следствием”. Приветствуя уют,
певцы не столь нежны, сколь близоруки,

и “до” звучит как временное “от”.
Блестящее, как капля из-под крана,
вибрируя, над проволокой нот
парит лунообразное сопрано.

VIII

Бесспорно, что — портрет, но без прикрас:
поверхность, чьи землистые оттенки
естественно приковывают глаз,
тём более — поставленного к стенке.
Поодаль, как уступка белизне,
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,
спиною чуя брошенный извне
взгляд живописца — взгляд самоубийцы.

IX

Что, в сущности, и есть автопортрет.
Шаг в сторону от собственного тела,
повернутый к вам в профиль табурет,
вид издали на жизнь, что пролетела.
Вот это и зовется “мастерство”:
способность не страшиться процедуры
небытия — как формы своего
отсутствия, списав его с натуры.

1984

6 Зак. 1585

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

24 декабря 1987 г.

НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный
хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

июль 1989

ПАМЯТИ ОТЦА: АВСТРАЛИЯ

Ты ожил, снилось мне, и уехал
в Австралию. Голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и обои: квартиру никак не снимут,
жалко, не в центре, а около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна,
пухнут ноги, "А тапочки я оставил" —
прозвучавшее внятно и деловито.
И внезапно в трубке завыло "Аделаида! Аделаида!"
загремело, захлопало, точно ставень
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке, ее залога —
эти обрывки голоса, монолога
и попытки прикинуться нелюдимом

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

1989

* * *

М.Б.

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал на галерке китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к
финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась
с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и
в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь
сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела,
глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем
бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

1989

FIN-DE-SIECLE *

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорей — влиянье небытия

на бытие: охотника, так сказать, на дичь, —
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,
кушетка и комбинация, соль острот.
Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,
время? Никто, ни одна душа.
Однако, время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекни.
Теперь повсюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев. Ни

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного судьбой,
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой
ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей.
Тиран уже не злодей,

---

* Конец века (фр.)

но посредственность. Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль

инвалида, поди, навсегда умолк;
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвой,
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву "л",
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси — примерно как "хоть убей"
или "большей не пей" —

и рука выпускает пустой графин.
Однако, в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке фин-

де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье.
Когда в результате вы это все с нее
стаскиваете, жилье

озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного "виват!"
срывается "виноват".

Новые времена! Печальные времена!
Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на

те, которыми вы в состояньи пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте

человечества — в сущности, от него
другого ждать не приходится — о нео-
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь,

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз

смотрящего — или через плечо —
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо

на ощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад
стоит, или стои́т, как иной фасад,
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов
в избытке, — но и жильцов,

включая автора данных строк,
тоже хоть отбавляй, и впрок
впору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр
в камерной версии черных дыр,
в космосе. Либо — самый мир

сфотографировать и размножить — шесть
на девять, что исключает лесть —
чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.
Под аккомпанемент авиакатастроф,
век кончается; Проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной
атмосферы, что объясняет зной,
а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч
примешиваются наши “спаси”, “не мучь”,
“прости”, вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.
Но век, собирая свое добро,
расценивает как ретро

и это. На полосе лает лайка и реет флаг.
На западе глядят на Восток в кулак,
видят забор, барак,

в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,
птицы вспархивают и летят на юг,
где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит тамтам.
Но, присматриваясь к чужим чертам,
ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном
и, скажем, классическим полотном
в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера —
копирку, как мысль чела —
букву, как рой — пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж

каковой есть распущенность. Пространство заселено.
Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово "заря", то — "зря".

И, услышавши это, хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть — не с целью открыть

остров или растенье, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом — рот.

1989

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

...погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительно навык
свеченья — не только в державе чернявых,
сейчас, — но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

25-е дек. 1988

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ШМАКОВА

Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих — в децибелах — тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила —
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статься, тебе, хвастуну,
резонеру, сверчку, черноусу,
ощущавшему даже страну
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, — будь беспределен,

повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать “херувим”, “серафим”,
но — трехмерных пространств нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденький ельник,
это — ты, однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, подельник.

Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,
сентименты сильней без вместилищ,
и постскриптум махровей стократ,
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей,
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадье кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажавшихся рощ кипарис,
пьяный пеньем великой гречанки,

— окликать тебя бестолку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере,

ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вьешься вверх струйкой пара над кофе,
треплешь парк, набегаешь волной
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек — вопреки
пенью хора — во всем остается.

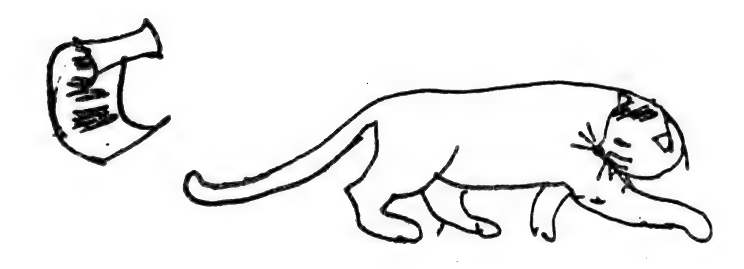
Ты теперь на все руки мастак —
бунта листьев, падения хунты —
часть всего, заурядный тик-так;
проще — топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели; мы — эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою "вольному — воля"
до разреженной внешней среды,
максимально — магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

21-е авг. 1989 г.



IV. ИЗ УСТНОЙ СКОРЛУПЫ

КОНСТАНТИН КАВАФИ

(переводы Геннадия Шмакова
под редакцией Иосифа Бродского)

СТЕНЫ

Безжалостно, безучастно, без совести и стыда
воздвигли вокруг меня глухонемые стены.

Я замурован в них. Как я попал сюда?
Разуму в толк не взять случившейся перемены.

Я мог еще сделать многое: кровь еще горяча.
Но я проморгал строительство. Видимо, мне затмило,

и я не заметил кладки, растущего кирпича.
Исподволь, но бесповоротно в отлучен от мира.

1896

ОКНА

В этих сумрачных комнатах обретаясь давным-давно,
я все время пытаюсь найти хоть одно окно,
чтоб отворить его. Луч, проникший со стороны, я
мог бы счесть утешеньем. Проникший снаружи свет
сделал бы жизнь выносимей. Но окон нет,
и может это и к лучшему, что мне их не отворить:
возможно, что свет всего лишь новая тирания.
Кто знает, какие вещи может он озарить.

1903

ЖЕЛАНЬЯ

Юным телам, не познавшим старости, умиранья,
— им, взятым смертью врасплох и сомкнувшим очи
навсегда пышных гробниц внутри,
сродни несбывшиеся желанья,
не принесшие ни одной воспаленной ночи,
ни одной ослепляющей после нее зари.

1904

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ

— Чего мы ждем, собравшись здесь на площади?

Сегодня в город прибывают варвары.

— Почто бездействует Сенат? Почто сенаторы
сидят, не заняты законодательством?

Сегодня в город прибывают варвары.
К чему теперь Сенат с его законами?
Вот варвары придут и издадут законы.

— Зачем так рано Император поднялся?
Зачем уселся он у городских ворот на троне
при всех регалиях и в золотой короне?

Сегодня в город прибывают варвары,
и Император ждет их предводителя,
чтоб свиток поднести ему пергаментный,
в котором загодя начертаны
торжественные звания и титулы.

— Почто с ним оба консула и преторы
с утра в расшитых серебром багряных тогах?

Зачем на них браслеты с аметистами,
сверкающие перстни с изумрудами?
Зачем в руках их жезлы, что украшены
серебряной и золотой чеканкой?

Затем, что варвары сегодня ожидаются,
а драгоценности пленяют варваров.

— Почто нигде не видно наших риторов,
обычного не слышно красноречия?

Затем, что варвары должны прибыть сегодня,
а красноречье утомляет варваров.

— Чем объяснить внезапное смятение
и лиц растерянность? И то, что улицы
и площади внезапно обезлюдели,
что населенье по домам попряталось?

Тем, что смеркается уже, а варвары
не прибыли. И что с границы вестники
сообщают: больше нет на свете варваров.

Но как нам быть, как жить теперь без варваров?
Они казались нам подобьем выхода.

1904

ЦАРЬ ДЕМЕТРИЙ

Не как царь, но как лицедей, он облачился вместо царского наряда в серый плащ и украдкой удалился от людских глаз.

Плутарх. «Жизнь Деметрия Полиокрета»

Когда Македонцы его отвергли,
выказав, что предпочитают Пирра,
царь Деметрий (исключительная душа)
повел себя — как утверждают — вовсе
не как пристало царю. Он снял
с себя золоченые одеянья,
скинул пурпурные башмаки
и, поспешно переоблачившись
в костюм простолюдина, удалился
прочь. Так рядовой актер
по окончании представленья
переодевается и уходит.

1906

ГОРОД

Ты твердишь: “Я уеду в другую страну, за другие моря.
После этой дыры что угодно покажется раем.
Как ни бьюсь, здесь я вечно судьбой обираем.
Похоронено сердце мое в этом месте пустом.
Сколько можно глушить свой рассудок, откладывать
жизнь на потом!
Здесь куда ни посмотришь — видишь мертвые вещи,
чувств развалины, тлеющих дней головешки.
Сколько сил тут потрачено, пущено по ветру зря”.

Не видать тебе новых земель — это бредни и ложь.
За тобой этот город повсюду последует в шлепанцах
старых.
И состаришься ты в этих тусклых кварталах,
в этих стенах пожухших виски побелеют твои.
Город вечно пребудет с тобой, как судьбу ни крои.
Нет отсюда железной дороги, не плывут пароходы
отсюда.
Протрубив свою жизнь в этом мертвом углу,
не надейся на чудо:
уходя из него, на земле никуда не уйдешь.

1910

САТРАПИЯ

Прискорбно, что судьба несправедлива
к тебе, природой созданному для
деяний доблестных, успеха, славы.
Тебе здесь негде проявить свой дар,
и ты коснеешь в низменных привычках,
ты делаешься безразличным, пошлым.
Но страшен день, когда, махнув рукой
на эту жизнь, поддашься искушенью
и тоже ступишь на дорогу к Сузам,
где правит Артаксеркс.
Тебя
он примет при дворе радушно, щедро,
пожалует сатрапией, рабами,
тем, сем — ненужными тебе вещами, но
чье изобилье ты, кусая губы, примешь.
Душа твоя к иным вещам стремится!
Ты грезишь о признаньи у софистов,
о славе всенародной, криках “Эвхе!”
тобой заслуженных, об Агоре,
о рукоплещущем театре, лаврах.

Их не получишь в дар от Артаксеркса.
В сатрапии их не дождешься тоже.
А для тебя без них и жизнь не в жизнь.

1910

ИОНИЧЕСКОЕ

Их разбитые изваянья,
их изгнанье из древних храмов
вовсе не значат, что боги мертвы. О нет!
Они все еще любят, Иония, землю твою, как прежде,
о тебе до сих пор память хранят их души.
Когда августовская заря
над тобой занимается, воздух суть их дыханье,
и нечеткий юношеский силуэт,
как на крыльях, изредка промелькнет
над твоими холмами.

1911

БОГ ПОКИДАЕТ АНТОНИЯ

Когда ты слышишь внезапно, в полночь,
незримой процессии пенье, звуки
мерно позвякивающих цимбал,
не сетуй на кончившееся везенье,
на то, что прахом пошли все труды, все планы,
все упования. Не оплакивай их впустую,
но мужественно выговори "прощай"
твоей уходящей Александрии.

Главное — не пытайся себя обмануть, не думай,
что это был морок, причуды слуха,
что тебе померещилось: не унижай себя.
Но твердо и мужественно — как пристало
тому, кому был дарован судьбой этот дивный город —
шагни к распахнутому окну
и вслушайся — пусть с затаенным страхом,
но без слез, без внутреннего содроганья —
вслушайся в твою последнюю радость: в пенье
странной незримой процессии, в звон цимбал
и простись с навсегда от тебя уходящей Александрией.

1911

МАРТОВСКИЕ ИДЫ

Душа, чурайся почестей и славы.
Но коли с честолюбием не сладить,
по крайней мере, будь благоразумна:
чем больших ты высот достигнешь,
тем осмотрительней веди себя.

Когда в зените ты, когда ты Цезарь,
когда ты притча на устах у всех,
будь вдвое осторожен — особливо
на улицах, в сопровожденьи свиты.
И если невзначай Артемидор,
к тебе приблизившись, письмо протянет,
пробормотавши: "Прочитай немедля:
здесь нечто, что касается тебя",
— остановись. Прерви все разговоры,
дела, решения. Вели убраться прочь
тебя приветствующим. Их поклоны
пусть подождут. Пусть подождет Сенат.
Узнай немедленно, что говорится
насчет тебя в письме Артемидора.

1911

ИТАКА

Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным,
полным открытий, радости, приключений.
Не страшись ни циклопов, ни лестригонов,
не бойся разгневанного Посейдона.
Помни: ты не столкнешься с ними,
покуда душой ты бодр и возвышен мыслью,
покуда возвышенное волненье
владеет тобой и питает сердце.
Ни циклопы, ни лестригоны,
ни разгневанный Посейдон не в силах
остановить тебя — если только
у тебя самого в душе они не гнездятся,
если твоя душа не вынудит их возникнуть.

Молись, чтоб путь оказался длинным,
с множеством летних дней, когда,
трепеща от счастья и предвкушенья,
на рассвете ты будешь вплывать впервые
в незнакомые гавани. Медли на Финикийских
базарах, толкайся в лавчонках, щупай
ткани, янтарь, перламутр, кораллы,
вещицы, сделанные из эбена,
скупай благовонья и притиранья,
притиранья и благовония всех сортов;
странствуй по городам Европы,
учись, все время учись у тех, кто обладает знаньем.

Постоянно помни про Итаку — ибо это
цель твоего путешествия. Не старайся
сократить его. Лучше наоборот
дать растянуться ему на годы,
чтоб достигнуть острова в старости, обогащенным

опытом странствий, не ожидая
от Итаки никаких чудес.

Итака тебя привела в движенье.
Не будь ее, ты б не пустился в путь.
Больше она дать ничего не может.

Даже крайне убогой ты Итакой не обманут.
Умудренный опытом, всякое повидавший,
ты легко догадаешься, что Итака эта значит.

1911

ГРЕКОФИЛ

Смотри, чтоб качество чеканки было
отчетливым. В чертах — величье, строгость.
Корону, впрочем, следовало б сузить:
я не люблю парфянские горшки.
А надпись — ту по-гречески, конечно,
без вычур, без двусмысленных гипербол,
чтоб всюду римский свой сующий нос
проконсул вздора не наплел бы Риму;
но, тем не менее, должна быть надпись гордой.
На обороте же изобрази, пожалуй,
дискобола, а впрочем нет — эфеба.
Особенно же проследи за тем
(и ты, Сифаст, смотри за этим в оба),
чтобы после вычеканенных “Монарх”, “Спаситель”
стояло элегантно “Грекофил”.
Не умничай, не изощряйся, дескать —
“Какие греки? Что за эллинизм
у нас за Загром, вдалеке от Фраты?"
Есть варвары похлеще нас, а пишут
примерно это. Чем мы хуже их?
В конце концов, бывают же у нас
забредшие из Сирии софисты,
и рифмоплеты, и другая рвань.
Мы, стало быть, не чужды эллинизма.

1912

МУДРЕЦЫ ПРЕДЧУВСТВУЮТ

Боги ведают будущее, люди — настоящее,
а мудрецы — то, что не за горами.

Филострат. «Жизнь Аполлония Тианского»

Смертным известно о настоящем.
Богам — начала и их концы.
О том, что близится, о предстоящем
знают только, склоняясь над шелестящим
листом пергамента, мудрецы.

Иногда им в их кельях, далеких от перепитий,
чудится странный гул. И они в него
вслушиваются, точно в мотив забытый.
Это — гул надвигающихся событий.
Населенье не слышит, как правило, ничего.

1915

МАНУИЛ КОМНИН

Великий государь Кир Маниул Комнин
в один сентябрьский ненастный день почувствовал,
что смерть близка. Хотя его астрологи
и вычислили (будучи оплачены),
что жить ему еще довольно много лет.
Пока они там торговались, вспомнился
ему один обряд церковный. Он велел
добыть монашескую рясу в местном
монастыре и, облачившись в этот
наряд смиреннный, ощутил себя
счастливым: выглядящим как монах, как служка.

Блаженны те, кто веруют; кто как
великий государь Кир Мануил кончают
дни, спеленав себя смиренной тканью веры.

1915

БИТВА ПРИ МАГНЕЗИИ

“Сдается, я сильно сдал. Силы, задор — не те.
И тело — не столько источник мыслей о наготе,

сколько о боли. Впрочем, остаток дней
я проведу без жалоб”. Так говорит — верней,

рассуждает Филипп. И вечером нынче он
занят игрою в кости, весел, воодушевлен:

“Эй, сыпьте розы на скатерть!” А тот неприятный слух,
что Антиох при Магнезии разгромлен в пух

и в прах, что прекрасная армия сокрушена — есть чушь.
Ибо это немыслимо! Попросту слух; к тому ж,

ложный, надо надеяться. Максимум, что человек
может сказать о недруге, если тот тоже грек,

это “надо надеяться”. И во главе стола
Филипп продолжает пир. Да, он сдал; не сдала,

видимо, только память. Он не забыл того,
как плакали и стенали сирийцы, когда его

собственная Македония рухнула тоже. “Эй,
слуги! Тащите факелы! Музыка, веселей!”

1915

УДРУЧЕННОСТЬ СЕЛЕВКИДА

Деметрий Селевкид был крайне удручен
узнав, что Птоломей достиг
Италии в весьма постыдном виде:
буквально в рубище, с тремя рабами,
к тому же — пеший. Так, того гляди,
начнут их, Селевкидов, в грош не ставить,
а в Риме и посмешищем сочтут.
Хотя, конечно, Селевкиду ясно,
что всеми ими помыкают в Риме,
как слугами, что там без них решают,
кому дать трон из них, кого вообще убрать.
Но все ж должны они хотя бы внешне
хранить достоинство! Ведь как-никак
они еще монархи, Селевкиды;
цари еще — нельзя же забывать!

Вот почему Деметрий Селевкид
был удручен и предложил немедля
в дар Птоломею диадему, перстни,
наряд пурпурный, свиту, слуг, рабов
и чистокровных лошадей — чтоб тот
в Рим въехал, как пристало греку,
к тому ж — Александрийскому царю.

Лагид дары его отверг, однако.
Он ехал, чтоб снискать себе поддержку
и в роскоши подобной не нуждался.
Он в Рим вступил как нищий, в жалком платье,
ночлег себе устроил где-то в доме
лудильщика; затем пришел в Сенат
— измученный, невзрачный, явно жертва
несправедливости. И он не просчитался.

1915

ОДИН ИЗ ИХ БОГОВ

Сгущались сумерки над центром Селевкии,
когда на площади возник один из Них.
Он шел — неотразимый, юный, статный,
в глазах — сиянье знанья, что бессмертен,
копна надушенных волос черна как смоль.
Прохожие таращились, стараясь
понять, откуда он — Сирийский грек?
заезжий чужестранец? Те, однако,
кто повнимательнее, догадавшись,
невольно пятились. И, глядя вслед
фигуре, поглощаемой аркадой,
ведущей сквозь сумятицу огней
в квартал, что оживает только ночью
с его распутством, оргиями, буйным
разгулом сладострастия, они
пытались распознать: который это
из Них, и в поисках каких земных
запретных радостей он пожелал сойти
на мостовую Селевкии с горних
высот — обители Благословенных.

1917

ЗАБИНТОВАННОЕ ПЛЕЧО

Он сказал, что споткнулся о камень, упал, расшибся.
Но не в этом, наверно, была причина
его забинтованного плеча.

От неловкой попытки снять с полки пачку
фотографий, давно его занимавших,
повязка ослабла, и струйка крови
потекла по руке.

Я принялся поправлять бинты:
я поправлял их медленно, неторопливо.
Ему было не больно, и мне нравилось созерцание крови:
эта кровь была кровью моей любви.

Когда он ушел, я нашел на полу под стулом
алый клок ваты, оставшейся от перевязки,
ваты, чье место — мусорное ведро.
И я прижал эту вату к моим губам,
и стоял, так держа ее, долго-долго —
прижимая к губам моим кровь любви.

1919

ДАРИЙ

Поэт Ферназис трудится над главной
главой своей эпической поэмы
о том, как Дарий, сын Гистаспа, стал
владыкой Персии (наш Митридат Великий,
Евпатор, Дионис и проч., и проч.
из этого же происходит дома).
Здесь, впрочем, требуется трезвость мысли:
чем, собственно, был обуреваем Дарий?
Гордыней? Честолюбьем? Был ли он
снедаем чувством суетности власти,
могущества? Как знать? Ферназис веки
смежает, погрузившись в размышленья.

Но ход их плавный грубо прерывает
слуга, вбегая в комнату с известьем:
Война! Мы выступили против римлян!
Часть нашей армии пересекла границу.

Ферназис ошарашен. Катастрофа!
Какое теперь дело Митридату,

Евпатору и Дионису до
стихов по-гречески? В разгар войны
не до стихов какого-то там грека.

Поэт подавлен. Что за невезенье!
Как раз когда он "Дарием" своим
рассчитывал прославиться и плотно
заткнуть завистливым зоилам глотки!
Опять отсрочка, нарушенье планов.

И если б только нарушенье планов!
Но в безопасности ли мы в наших стенах?
Амизос — плохо укрепленный город.
На свете нет врагов страшнее римлян.
Что противопоставить можем мы,
каппадокийцы, ихним легионам?
О боги Азии, не оставляйте нас!

Но среди всех этих волнений, страхов
мысль поэтическая не прекращает биться.
Да, именно: гордыня, честолюбье.
Да, ими именно и был снедаем Дарий.

1920

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

ПАМЯТИ ПОЭТА. ВАРИАНТ

В Петербурге мы сойдемся снова...

Осип Мандельштам

Вернулся ль ты в воспетую подробно
Юдоль, чья геометрия продрогла —
В план города, в скелет его, под ребра,
Где, снегом выколов Адмиралтейства вид
Из глаз, мощь выключаемого света
Выводит тень из ледяного спектра
И в том конце Измайловского смертно
Многоколесный ржавый хор трубит.

Опять трамвай вторгается как эхо
В грязь мостовой, в слезящееся веко,
И холод девятнадцатого века
Царит в вокзалах. Тусклое рядно
Десятилетий пеленает кровли.
Опять ширь жестов, родственная кроне.
На свете все восстановимо, кроме
Простого тела, видимо. Оно

Уходит в зимнем сумраке незримо
В зарю глухую Северного Рима,
Шаг приспособив к перебоям ритма
Пурги, в пространство тайное, в тот круг,
Где зов волчицы переходит в общий
Конвойный вой умалишенных волчий,
В былую притчу во языцех — в отчий
Заочный и дослезный Петербург.

Не воскресить гармонии и дара,
Поленьев треска, теплого угара
В том очаге, что время разжигало.
Но есть очаг вневременный, и та
Есть оптика, что преломляет судьбы
До совпаденья слова или сути,
До вечных форм, повторенных в сосуде,
На общие рассчитанном уста.

Взамен необретаемого Рая,
Из пенных волн что остров выпирая,
Не отраженье жизни, но вторая
Жизнь восстает из устной скорлупы.
И в свалке туч над мачтою ковчега
Ширяет голубь в поисках ночлега,
Не отличая обжитого брега
От Арарата. Голуби слепы.

Оставь же землю. Время плыть без курса.
Крошится камень, ложь бормочет тускло.
Но, как свидетель выживший, искусство
Буравит взглядом снега круговерть.
Бредут в моря на ощупь устья снова.
Взрывает злак мощь ледяного крова.
И легкое, бессмысленное слово
Звучит вдали отчетливей, чем смерть.

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Скоро же, друг Эльпенор,
очутился ты в царстве Аида...

Все было, видимо, не так. Сквозь ветви
открылся нам большой заглохший порт.
Бетон причальной стенки безмятежно
белел в зацветшей илистой воде.

Прибой лизал рассохшиеся сваи,
торчавшие из пены. Налетавший
с равнины ветер гнал слепой песок
меж обезглавленных каркасов барок.
Исколотый огрызками бессчетных
мачт и стреноженный канатом воздух
лежал без сил плашмя на водной глади
спиною к дюнам. Выгоревший флаг
жары подрагивал над горизонтом. Хлопец,
плот смастеривший из подгнивших досок,
чтоб переправиться через протоку,
искал попутчиков. Опричь него
людей там не было. Уже не помню, кто
пробормотал, что эта местность тоже
отчасти с Итакой имеет сходство.

Был полдень, сердцевина дня.
Минувшая война и годы странствий
отягощали мозг наш, как вода,
пловцу неловкому пробравшаяся в бронхи.
Под каблуком похрустывали галька,
ракушечник. Потом мы все лежали
в траве, забывши о природе — о
той, кто сама о нас давно забыла.

Небесный свод перемещался. Соль,
луной незримой движимая, шумно
свершала свой круговорот. На гребне
буйки подскакивали, и слепили глаз
облепленные мидиями бревна.
Как сумрачна, как терпелива глубь
прибоя! Как велеречива пена —
как память о пространстве — как пространство
меж молом и хребтом землечерпалки.

Поблизости раздался легкий шорох:
прохожий, несший на плече весло,
прошествовал в глубь суши, где никто

7 Зак. 1585

весла не видел отродясь. Полёвка
обнюхивала торопливо ржавый
трезубец у подножья дюны.

Волны не существует. Существует
лишь масса, а не сумма капель.
Вода стремится от самой себя.
Ни острова, что тесен для объятья,
ни смерти на экваторе, ни мятой
травы полей, ни возвращенья в лоно
миф и история не обещают.

За поворотом началось другое
пространство. Чуть сместилась перспектива.
Песчинки под ногой блестели, точно
вы их рассматривали через лупу
(иль в перевернутый бинокль — камни).
Предметов очертанья расплывались
как звуки музыки в неподходящем зале.
Мы сразу поняли: всему виной жара
и мало удивились, встретив рядом
с оградой друга — одного из тех,
с кем свидеться дано лишь после смерти.

Он был лишь первым.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

ЭЛЕГИЯ Н.Н.

Неужели тебе это кажется столь далеким?
Стоит лишь пробежать по мелким Балтийским волнам
и за Датской равниной, за буковыми лесами
повернуть к океану, а там уже, в двух шагах,
Лабрадор — белый об эту пору года.
И уж если тебе, о безлюдном мечтавшей мысе,
так страшны города и скрежет на автострадах,
то нашлась бы тропа — через лесную глушь,
по-над синью талых озер со следами дичи,
прямо к брошенным золотым рудникам у подножья
Сьерры.
Дальше — вниз по течению Сакраменто,
меж холмов, поросших колючим дубом,
после — бор эвкалиптовый, за которым
ты и встретишь меня.

Знаешь, часто, когда цветет манцанита
и залив голубеет весенним утром,
вспоминаю невольно о доме в краю озерном,
о сетях, что сохнут под низким литовским небом.
Та купальня, где ты снимала юбку,
затвердела в чистый кристалл навеки.
Тьма сгустилась медом вокруг веранды.
Совы машут крылами, и пахнет кожей.

Как сумели мы выжить, не понимаю.
Стили, строи клубятся бесцветной массой,
превращаясь в окаменелость.
Где ж тут в собственной разобраться сути.
Уходящее время смолит гнедую
лошадь, и местечковую колоннаду
рынка, и парик мадам Фигельтауб.

Знаешь сама, ты многому научилась.
Как отнимается постепенно то,
что не может быть отнято: люди, местность,
и как сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться.
Улыбаемся; чай на столе, буханка.
Лишь сомненье порою мелькнет, что мог бы
прах печей в Заксенхаузене быть нам чуть-чуть дороже.
Впрочем, тело не может влюбиться в пепел.

Ты привыкла к новым дождливым зимам.
К стенам дома, с которых навеки смыта
кровь хозяина-немца. А я — я тоже
взял от жизни, что мог: города и страны.
В то же озеро дважды уже не ступишь;
только солнечный луч по листве ольховой,
дно устлавшей ему, преломляясь, бродит.

Нет, не затем это, что далёко,
ты ко мне не явилась ни днем, ни ночью.
Год от года, делаясь все огромней,
созревает в нас общий плод: безучастность.

СТЕНАНЬЯ ДАМ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Наши платья втоптала в грязь большаков пехота.
Ленты скрутило пламя в собственные спирали.
Бусы упали на дно исторического водоворота.
Кольца с прозрачных пальцев темные люди сняли.

Рухнули наши прически — зависть любой богини.
Мастер вплетал в них перья. Теперь там кричит ворона.
Мы посыпаем их на ночь пеплом. Когда дневная

розовоперстая вещь из вод восстает, нагими
мы проходим по улицам нового вавилона,
лбы напряженно морща, что-то припоминая.

1944

ПОСВЯЩЕНИЕ
К СБОРНИКУ "СПАСЕНЬЕ"

Ты, которого я не сумел спасти
выслушай. Постарайся понять эти простые слова. Ей-богу,
я не знаю других. Говорю с тобой молча,
как дерево или туча.

То, что меня закалило, тебя убило.
Ты конец эпохи счел за начало новой
эры. И пафос ненависти — за лирические восторги.
Силу слепую — за совершенство формы.

Мелкие польские реки, струящиеся по равнине.
И колоссальный мост, тонущий в белой мгле.
И разрушенный город. Ветер швыряет вопли
чаек тебе на гроб, пока я говорю с тобою.

В неумелых попытках пера добиться
стихотворенья, в стремлении строчек к
недостижимой цели, —
в этом, и только в этом, как выяснилось, спасенье.

Раньше просом и семенами мака
посыпали могилы — ради всегда бездомных
птиц; в них, считалось, вселяются души мертвых.

Я кладу сюда эту книгу нынче,
чтоб тебе к нам больше не возвращаться.

ДИТЯ ЕВРОПЫ

1

Мы, чьи легкие впитывают свежесть утра,
чьи глаза восхищаются зеленью ветки в мае,
— мы лучше тех, которые (вздох) погибли.

Мы, кто смакует успехи восточной кухни,
кто оценить способен нюансы ласки,
— мы лучше тех, кто лежит в могилах.

От пещи огненной, от колючки,
за которой пулями вечная осень свищет,
нас спасла наша хитрость и знанье жизни.

Другим достались простреливаемые участки
и наши призывы не уступать ни пяди.
Нам же выпали мысли про обреченность дела.

Выбирая меж собственной смертью и смертью друга,
мы склонялись к последней, думая: только быстро.

Мы запирали двери газовых камер, крали
хлеб, понимая, что завтра — кошмарнее, чем сегодня.

Как положено людям, мы познали добро и зло.
Наша подлая мудрость себе не имеет равных.

Признаем доказанным, что мы лучше
пылких, слабых, наивных, — не оценивших жизни.

2

Цени прискорбное знанье, дитя Европы,
получившее по завещанью готические соборы,
церкви в стиле барокко, синагоги с картавым
клекотом горя, труды Декарта,

Спинозу и громкое слово “честь”.
Цени этот опыт, добытый в пору страха.

Твой практический разум схватывает на лету
недостатки и выгоду всякой вещи.
Утонченность и скепсис гарантируют наслажденья,
невнятные примитивным душам.

Обладая описанным выше складом
ума, оцени глубину нижеследующего совета:
вбирай свежесть утра всей глубиною легких.

Прилагаем ряд жестких, но мудрых правил.

3

Никаких разговоров о триумфе силы.
В наши дни торжествует, усвой это, справедливость.

Не вспоминай о силе, чтоб не обвинили
в тайной приверженности к ошибочному ученью.

Обладающий властью обладает ей в силу
исторической логики. Воздай же должное оной.

Да не знают уста, излагающие ученье,
о руке, что подделывает результаты эксперимента.

Да не знает рука, подделывающая результаты,
ничего про уста, излагающие ученье.

Умей предсказать пожар с точностью до минуты.
Затем подожги свой дом, оправдывая предсказанье.

4

Выращивай древо лжи, но — из семени правды.
Не уважай лжеца презирающего реальность.

Ложь должна быть логичней действительности. Усталый
путник да отдохнет в ее разветвленной сени.

День посвятивши лжи, можешь вечером в узком
кругу хохотать, припомнив, как было на самом деле.

Мы — последние, чья изворотливость схожа
с отчаяньем, чей цинизм еще источник смеха.

Уже подросло серьезное поколенье,
способное воспринять наши речи буквально.

5

Пусть твое слово значит не то, что значит,
но меру испорченной крови посредством слова.

Двусмысленность да пребудет твоим доспехом.
Сошли простые слова в недра энциклопедий.

Не оценивай слов, покуда из картотеки
не поступит сообщенья, кто их употребляет.

Жертвуй голосом разума ради голоса страсти.
Ибо первый на ход истории не влияет.

6

Не влюбляйся в страну: способна исчезнуть с карты.
Ни, тем более, в город: склонен лежать в руинах.

Не храни сувениров. Из твоего комода
может подняться дым, в котором ты задохнешься.

Не связывайся с людьми: они легко погибают.
Или, попав в беду, призывают на помощь.

Также вредно смотреться в озера детства:
подернуты ржавой ряской, они исказят твой облик.

7

Того, кто взывает к истории, редко перебивают.
Мертвецы не воскреснут, чтоб выдвинуть возраженья.

Можешь валить на них все, что тебе угодно.
Их реакцией будет всегда молчанье.

Из ночной глубины плывут их пустые лица...
Можешь придать им черты, которые пожелаешь.

Гордый властью над теми, кого не стало,
усовершенствуй и прошлое. По собственному подобью.

8

Смех, бывший некогда эхом правды,
нынче оружье врагов народа.

Объявляем оконченным век сатиры.
Хватит учтивых насмешек над пожилым тираном.

Суровые, как подобает борцам за правое дело,
позволим себе отныне только служебный юмор.

С сомкнутыми устами, решительно, но осторожно
вступим в эпоху пляшущего огня.

ПО ТУ СТОРОНУ

Некоторые разновидности ада имеют вид возникших в результате пожара городских развалин, и адские духи обретаются в оных, находя в них себе укрытие. В более скромных случаях ад состоит из заурядных построек, расположеньем своим напоминающих обычные улицы и переулки.

Эм. Сведенборг

Падая, я зацепил портьеру,
и бархат ее был на земле последней
вещью, что я запомнил, проваливаясь в никудааааaa.

До конца не верил, что, как и все, я тоже.

После я брел в колее, в слякоти, по проселку,
вдоль фанерных бараков. Изредка возникало
нечто из камня, окруженное чертополохом;
грядки с картошкой огороженные колючкой.
Внутри играли в почтичто-карты, пахло почтичто-щами,
пили почтичто-водку, царила почтичто-грязь
и шло, замирая, почтичто-время.
Я начал: “В конце концов...” Но они пожимали плечами
либо смотрели в сторону: здесь отвыкли от возмущенья.
И от цветов. Сухая герань в консервных
банках, запорошенных слоем пыли.
Также — от будущего. Наяривали патефоны,
повторяя то, чего и не существовало.
Разговоры кончались там же, где начинались,
чтоб никто не вздрогнул: где я? и чего ради?
Видел странных собак, чьи морды то удлинялись,
то сжимались в гармошку, переходя при этом
из овчарки в бульдога и снова в таксу.
Чем давали понять, что — не совсем собаки.
Черной битой посудой гремели в небе
замерзшие на лету вороны...

СЧАСТЛИВЕЦ

Старость его совпала с эпохой благополучья.
Не было ни землетрясений, ни засухи, ни потопа.
Выровнялись границы меж временами года.
Звезды сверкали ярче; так же, впрочем, как солнце.
Даже в провинциях больше не воевали.
Поколенья росли в уваженьи к ближним.
Горько было прощаться со столь совершенным миром!
Глядя на них, он стыдился своих отчаянных мыслей
и рад был, что вместе с ним сгинет страшная память.
Через сорок восемь часов после его кончины
опустошительный ураган пронесся по побережью.
Задымили дремавшие двести лет вулканы.
Лава подмяла леса, виноградники и селенья.
И война началась на знойном архипелаге.

ЦИПРИАН КАМИЛЛ НОРВИД

В АЛЬБОМ

(из фантазии "За кулисами")

1

Помимо Данте, кроме Пифагора,
Помимо женщин, склонных к исступленью,
Когда им чрево пучит мандрагора,
И я был в Лимбах... помню, к сожаленью!

2

В порядке подтвержденья или моды
Томов двенадцать накатать бы кряду...
Устал! Махну куда-нибудь на воды;
Довольно я постранствовал по Аду!

3

Предпочитаю мыкаться в коляске,
Вращать глазами, клацая зубами,
В е к а, э п о х и смешивая в тряске
В мозгу, как в чаще ягоды с грибами, —

4

Быть з д е с ь и т а м, с е г о д н я, но и п о с л е,
Как ниже — выше — явствует из текста,
Но и не рваться из пучины вовсе,
И не забыть, что посетил т о м е с т о...

5

Как было там? Встречался ли с родными
И с ближними? Что делал там так долго?
Там близких нет, лишь о п ы т ы над ними,
Над сердцем человеческим — и только.

6

Там чувств не видно. Только их пружины,
Взаимосвязью одержимы мнимой,
Подобие бессмысленной машины,
Инерцией в движенье приводимой.

7

Там ц е л е й нет. Там введена в систему
Бесцельность. Нет и Времени. В коросте
Там циферблаты без цифири в стену
Тупые заколачивают гвозди.

8

Но не событий считыватель точных,
А неизбежности колючий ноготь,
Переводящий стрелки их, источник
Их стрекота и дребезга, должно быть.

9

Что большая для Вечности потеря:
Минута, год ли? Вскидывая руки,
Самим себе и времени не веря,
Не колокол свиданья, но разлуки,

10

Они друг другу внемлют, настигая,
Иронии глухой не изменивши:

За каждою минутою — другая.
Хоть век звони, не по себе звонишь ты.

11

И вечный этот двигатель бесцельный —
Трагедия без текста и актера,
Отчаянья и скуки беспредельной
Мелодия, взыскующая хора.

12

Он сотрясает судорогой чрево,
Как океан, когда в нем первый раз мы.
Но это спазмы ярости и гнева,
Непониманья их причины спазмы.

13

Вот испытанье подлинное. То есть,
Собой владея иль трясясь от дрожи,
Ты здесь осознаешь, чего ты стоишь,
И что ты есть в действительности — тоже.

14

Пристали ль имена тебе и клички,
Что выдумало время — или предок,
И что в тебе от моды, от привычки,
И что — твое, ты видишь напоследок.

15

Как древо, просмоленное, пыланьем
Ты там охвачен весь, но не уверен
В свободе, порождаемой сгораньем:
Не будешь ли ты по ветру развеян?

16

Останется ли хаос лишь и масса
Пустой золы? Иль результат конечный:
Под грудой пепла — твердого алмаза
Звезда, залог победы вековечной!..

17

А впрочем — хватит. Разрешенье споров,
Что был там, нахожу невыносимым.
Качу на воды! Обалдел от сборов,
И описанья Ада не по силам.

18

Да, право же, довольно! В седла вскочим.
Попутчик мой — верзила конопатый,
Не смыслит ни в истории, ни в прочем,
Как статуя молчит, и сам — как статуй.

19

С двумя концами выберем дорогу:
На север — страны, а эпохи — с юга.
Граница им — пространство... ей-же Богу!
А небосвод — лишь пыльная округа.

ПЕСНЬ ТИРТЕЯ

Что же так робок звук их напева?
Текст у них, право, не новый.
Лютни зачем их из хрупкого древа,
А не из кости слоновой?
Что ж это сердце над хрупкостью плачет,
Болью пронзенное острой,
Будто царица-изгнанница прячет
Гордость под пошлостью пестрой?..

С правдой небесной в пере поднадзорном,
Сокол, разбуженный ранним
Солнцем — Поэт почему не разорван
Львами... но к быдлу приравнен?

Адские тени со струн отрясая,
Как же Орфеева лира,
Слов не терзая, но души пронзая,
Звуки прекрасные лила?

Не распинал он прекрасную Оду,
Армии фурий несметной,
Деву его охранявшей, в угоду —
Смертный, пошедший за смертной...
. . . .
Ставя на пепел Эреба столь гордо
Ногу в злаченом котурне,
Форму стопой придавая нетвердой,
Свежей податливой урне,

Смело в Аида глядящий угодья,
В платье пурпурной окраски
Торс обернувши (в гнилые лохмотья!),
Царь! Что лепечешь по-рабски?

Кедры в бесплодном рождаются чресле,
В люльке гигантов — в пустыне.
Ждите поэта великого, если
Нету великих в помине.

Слово из звука и слово из духа
Жаждет к скрижалям привиться.
Лишь песнопевец доводит до слуха
Общего — шепот провидца.

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

АНИНСКИЕ НОЧИ

Оставь в покое ожерелье.
Ночного ветра канонада
гудит над нашею постелью,
как Альбенисова соната.

Алмазом месяц разрезает
стекло. Свеча из парафина
горит, и на постель свисает
паук — подобьем балдахина.

И ночи саксофон прекрасный
звенит, высок и необыден.
И польских дней абсурд ужасный
во тьме не так уж очевиден.

И опахалом безграничным,
украшенным узором птичьим,
узором, отлетевшим прочь,
нам Арапчонок машет чудный
с серьгою в ухе изумрудной...
И это — Ночь.

1937

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ

Наталии, маленькому фонарику
заговоренных дрожек

1

Allegro

Верить мне — не неволю.
Но лжи здесь нету ни грамма.
Шесть слов — и не боле —
имела та телеграмма:

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

Волосы дыбом встали.
Стукнул зубом от страха.
Сразу вспомнил Бен-Али,
нашего черного мага.
Память моя прекрасна,
помню все, слово в слово:

“...заговорить коляску,
это проще простого.
Нужно кучеру в очи
сверкнуть специальной брошкой —
и он заколдован тотчас,
а также и сами дрожки,
но коня — невозможно..."

Номер набрал осторожно
— Будьте добры Бен-Али... —
В ответ тяжело вздохнули.
— Мне кажется, заколдовали
лошадь...

— Вас обманули. —
Отбой.

Затрясся, ей-богу.
Едва сдержался от крика.
Ночь. Начало второго.
В дверях почтальон, как пика.
Кто он, тот почтальон?
Вдруг под пилоткой — рожки?

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ?
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК?
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ?

Страшно. Блеск зодиаков.
Спазма горло сжимает.

С крыш серебряных Краков
упавшие звезды снимает.

Ветер листья шевелит,
мнет почтальон пилотку...
А может быть, в самом деле
заказывал днем пролетку?

Может, в парк на гулянье?..
Мысли чтоб прояснились?..
Кучер уснул в ожиданье,
во сне усы удлинились,
и спящего зачаровали
ветер, ночь и Бен-Али.

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

2

Allegro sostenuto

С улицы Венеции к Суконному ряду
Артур и Ронард — два моих брата —
меня провожали под белые руки.
Нужно сказать, мы не знали скуки.
Месяц порою, кружась, снижался,
к носу булыжник вдруг прижимался.

Так и брели мы сквозь спящий Краков...

3

Allegretto

Как мерцанье зодиаков,
только порванное в клочья:
　　　　НАБИВАНЬЕ ЧУЧЕЛ ночью,
　　　　ночью ШВЕДСКИЕ КОРСЕТЫ,
　　　　ночью спящие КЛОЗЕТЫ,
　　　　ночь в КОНТОРЕ ПОГРЕБАЛЬНОЙ,
　　　　ночью ХОР НАЦИОНАЛЬНЫЙ,
　　　　ночью СЫР и ночью САХАР,
　　　　ночью ДАМСКИЙ ПАРИКМАХЕР,
　　　　ночью РЕЛЬСЫ, ночью ТРУПЫ,
　　　　ночью СКЕТЧИ сборной ТРУППЫ,
　　　　СТЕНОГРАФИЯ кошмаров
　　　　с ночью СМЕШАННЫХ ТОВАРОВ,
　　　　ночь ПОМНОЖЕННАЯ НА ТРИ,
　　　　нечто в КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ,
　　　　ночь в КОСТЕЛЕ у оконца,
　　　　словно кается точь в точь...

Словом,
　　　　верные знакомцы:
вечный ветер, вечная ночь.

4

Allegro ma non troppo

Добрался до дома, где трактир “У негров”
(э-эх, жизни не жалко за этот дом!),
как струны рояля, натянуты нервы,
в горле какой-то холодный ком.

Спящую площадь обшарил взглядом.
О, ужас! Рядом с Суконным рядом:

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

Все, как было в той телеграмме,
Под башней Марьяцкой стою в пижаме,
а конь, представьте, шевелит ушами!

5

Allegro cantabile

Грива белеет, и хвост белеет,
ветер, запутавшись в них, звереет.

Белые дрожки по тракту мчатся.
Девушка в церковь мчится венчаться.

Пар из ноздрей коня вылетает.
Рядом с нею моряк восседает.

Моряк — подонок — ведь всем известно:
в каждом порту его ждет невеста.
Пусть же за это он сгинет в море.

Девушка после умрет от горя,
от одиночества и печали...

Только по смерти, как и вначале,
сила любви — иль ее причуда —
соединила их...
                                        Но покуда
едет в коляске заговоренной
с панной влюбленной моряк влюбленный
к старой капелле в деревне бедной...

И там, где Езус лицо склоняет,
руки печальные соединяет
ксендз, похожий на месяц бледный.

Ночь воет. Воркует нежная пара.
Но на рассвете,
                                        клубами пара,
от желтой ограды, во мраке спавшей
возле ворот, с которых свисают
листья барокко и лист опавший,
на веки вечные исчезают

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ.

6

Allegro furioso alla polacce

А в извозчичьем трактире,
в самом лучшем месте в мире,
пар клубится облаками,
и усы над котелками
нависают с темной целью
словно жизнь над колыбелью,
и в башку со всех сторон

бьется вальс “Веселый слон”.
По тарелке стукнув ложкой,
заявляет пан Оношко:
— Да, машины торжествуют!
Но покуда существуют
в мире тракты и дорожки,
фаэтоны, санки, дрожки,
кони, седла, сбруя, дышло,
небеса, поля и Висла —
в городах больших и малых,
даже в самых захудалых,
будут, хоть невесть какие,
пусть хоть самые плохие

ЗАГОВОРЕННЫЕ ДРОЖКИ
ЗАГОВОРЕННЫЙ ИЗВОЗЧИК
ЗАГОВОРЕННЫЙ КОНЬ

1946

МАЛЕНЬКИЕ КИНОЗАЛЫ

В сильной тоске, в печали
лучше всего укрыться
в маленьком кинозале,
с плюшевым креслом слиться.

Снаружи ветер колышет
листья, и тени кружат,
покрывая афиши
причудливой сетью кружев.

А дальше, блестя глазами,
шнурки, грильяж, папироски
высокими голосами
предлагают подростки.

О! Стемнело. Усталый
месяц вытянул руки.
Маленькие кинозалы
прекрасны в тоске, в разлуке.

Кассирша с прядью волнистой
в будке царит золотистой.
Билет покупаешь и входишь
в сумрак, где фильм поет.

Шумит кинолес блестящий,
пальмовый, настоящий,
и в луче серебристом
дым сигарет снует.

Как славно тут притулиться,
скрыться от непогоды,
с плюшевым креслом слиться
и умолкнуть на годы.

Плещет в сердце бездомном
река в серебристом свете.
Дремлешь в том зале темном
любовным письмом в конверте:

“Ты — как звезда над бором.
Ложусь я в постель пустую.
Где тот мост, на котором
встретимся вновь?
Целую”.

Выходишь грустен, туманен,
заарка- заэкранен,
бредешь пустырем и шепчешь:
тут бы и кончить дни,

в кинозалах случайных.
Это — царство печальных.

В них так просто забыться.
Как прекрасны они.

Посвящение:

Автору "Морских повестей"
Станиславу Марии Салинскому.

1947

КОНЬ В ТЕАТРЕ

На премьеру сатирического представления
по ошибке послали коню приглашение;
дескать, "имеем честь, лучшее место, такой-то вечер".
Конь приехал, но запоздал, в расчете на пышную
встречу.
Билетер не хотел пускать. Но швейцар поклонился слева:
— Могут быть неприятности, лучше впустить, коллега.
Конечно, ржет и паскудит... А вдруг он инкогнито, Некто?
С виду он конь, а по сути, может, какой директор.
Дожили: все иллюзорно. Пойди разберись со всеми.
Простой человек не пустит. А после скандалят в сейме.
Пустим. — Они поклонились. Конь в фойе оказался.
Тихо заржал от восторга. Потом слегка причесался.
И отправился в зал. Там в первом ряду улегся.
Солидно взглянул на сцену. И зрелищем сим увлекся.
На сцене пела певица, ладонь прижимала к сердцу.
Однако спустя полчаса заскучал он и начал вертеться.
Кто-то ему улыбнулся, что коню было очень лестно.
Конь потянулся и встал (копытами в плюш) на кресло
и стал раздавать поклоны. Причем весьма безупречно:
посланникам очень сердечно,
студентам вполне беспечно.
Каждому, дескать, свое — будто он знал Лукреция.
В антракте конь овладел словами "аспект" и "концепция"

и сыпал ими на все стороны, производя
колоссальный эффект:
игогогогоконцепция, игогогогоаспект.
Конь говорил. Публика ловила его слова.
Потом прибежал фотограф. Кинооператор накрутил
две ленты.
А в финале программы на сцене была намалевана трава.
Конь вскочил. И траву съел. И сорвал аплодисменты.

1953

В ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Здесь, где купелью сонной
звезды мой смех встречают,
кирпичный домик спасенный
холм золотой венчает
в лесничестве Пране, ставшем
осенним спасеньем нашим.

Гаснут в комнатах теплых
лампы и блеск улыбок.
Сколько осени в стеклах!
А в осени — сколько скрипок!
И в них, друг друга толкая,
печали поют, не смолкая.

За окнами лес и поле,
лес — разговор сосновый.
С тихой неясной болью
день умирает новый,
и меркнет свет постепенно,
словно свечи Шопена.

Месяц в серебряной чаще,
в теплом ночном тумане,
одетый в парик блестящий,
играет, как Бах на органе.
А путь сверкающий Млечный
ночные холмы объемлет.
И этой музыке вечной
лесничество Пране внемлет.

О лесничество Пране!
Ропот дубов и грабов.
Ламп и свечей мерцанье,
мерцанье улыбок храбрых.
И крыши взмах черепичный
гудит, как рояль концертный.
У каждой стены кирпичной
месяц поет бессмертный.

Пустое стекло смеется.
Тропинка вьется, как в сказке.
В листве золотистой вьется
серебряный след коляски.
Серебряный месяц молча
в затылок лошадке светит.
Заснувший извозчик ночью
в лесничество Пране едет.

И звезды, как снег, заносят
крыльцо лесничества Пране.
Но каждой сентябрьской ночью
в забитой оконной раме —
в нашей комнате грустной,
сердцу биться мешая,
в твоем зеркальце узком
светит звезда большая.

ПЕСНЯ О ЗНАМЕНИ

Польское знамя Тобрука
встречает под Нарвиком друга,
встречает, как мертвого сына,
знамена Монте Кассино.

И каждое знамя — с дырою.
И плотью своей дырявой
сходно с земной зарею,
с польскою, с бело-кровавой.
И вьется сквозь снежную замять
бело-кровавый, как память,
флаг, овеянный славой,
белый, как снег лавинный,
кровавый, как сумрак винный,
бело-кровавый.

В холодном полночном мраке
собрались польские флаги,
собрались родные знамена,
друг друга зовут поименно.
Внимая смертельному грому,
знамя — одно другому —
во мраке военном страшном
шепчет: "Будь же отважным.
Будь же сильным: не плачься.
Нигде на свете не прячься.
Ни злость Иудина взгляда,
ни бомбы, ни грохот снаряда,
ни самое адское пламя
не выкрасят польское знамя.
Останется честным и чистым.
Промчится по склонам гористым.
Промчится по всем переправам
рассветом бело-кровавым,
безумной зарей над равниной.
Останется чистым и правым,

белым, как снег лавинный,
кровавым, как сумрак винный,
бело-кровавым".

Меркнут звезды. Светает.
На ветку птица взлетает.
Встает, как мальчик беззубый,
польский рассвет безумный.
Ущелья и горные тропы,
склоны в лесистых войсках,
ночные холмы Европы
покрыты знаменем польским.
И в дырах разверстых, во мраке,
где облако дымное тает,
кроваво-красные маки
из польской крови взрастают.

В безумном грохоте боя
знамена между собою
друг другу шепчут: не плачьте.
Пока хоть лоскут на мачте,
под нами земля покуда,
останется польское знамя
таким, как прежде, повсюду.
Повсюду, на год, на век ли,
повсюду: во льду и в пекле,
в земле африканской, мурманской,
гонимо долей цыганской,
останется гордым и правым,
в собственной смерти повинным
рассветом бело-кровавым,
белым снегом лавинным,
сгустком кровавым винным,
бело-кровавым.

И знамя рыдает, словно
оно в чьей-то смерти виновно.
Погибнуть должно оно тоже

за то, что с другими не схоже,
что с ложью оно не знакомо,
столько не было дома,
за то, что не знают другие
такой неземной ностальгии,
за то, что ходит в заплатах,
как смерть у Шопена в балладах,
за то, что ночью устало
его Богоматерь латала.
Для смерти любая причина
подходит в грохоте боя.

Но вот уж приходит дивчина.
Берет знамена с собою.
Восходит с ними по кручам,
несет их высоко, высоко,
уносит их к самым тучам,
все выше, выше дорога.
За тучи, где свет все полнит,
где все-то на свете помнят.
Повыше — где только слава
и Варшава, моя Варшава,
Варшава, как песня о жизни
в кроваво-белой отчизне,
оставшейся чистой и правой
с кроваво-белой Варшавой,
с Варшавой, как флаг над равниной,
белой, как снег лавинный,
с Варшавой, овеянной славой,
кровавой, как сумрак винный,
бело-кровавой, бело-кровавой,
бело-кровавой, невинной.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Возле печки ветер сыплет в синеватый
четырехугольник белоснежной ватой
и жилец дыханьем согревает теплым
бледные соцветья что прилипли к стеклам

Абрис пианино книги по соседству
в сумраке маячит как руины сердцу
милые по детским радостям и страхам
как звезда над топью вырубкою шляхом

Нету у поэта кошки а снаружи
вопли и стенанья искры что не хуже
чем глаза кошачьи это просто ветер
тормоша деревья убивает вечер

Ох уже декабрь но жильцу об этом
думать неохота в комнате как летом
в парнике уютно и тепло в избытке
и щебечет чайник на электроплитке

О любви ведущий странные беседы
Что печальны словно старые корсеты
мастер фейѐрверков и носитель масок
он хранитель наших уцелевших сказок

Бережный садовник красоты растущей
сетку параллелей как светило ткущий
соискатель кладов дарящих блаженством
листопад он может вызвать легким жестом

Он рождает весны над лугами девства
всех исповеданий он апостол с детства
ловит как капустниц снегопад облаток
и в любовной битве не покажет пяток

Знающий о смерти понаслышке только
он дрожит не видя в прочих войнах толка
ах декабрь суббота ночь и снег на сучьях
есть чего бояться зная жизни сущность

Сумерки он любит стол и лист бумаги
любит встать шатаясь точно выпил браги
участь мира в этот миг ему известна
да забыл он то что нынче ночь Сильвестра

Ночь Сильвестра гомон хаос лиц осколки
глаз что прочитали календарь до корки
пропасти гортаней в себя водку льющих
чтоб забыть на время натиск дней грядущих

Ночь Сильвестра рюмок фейерверка хаос
старики в подвалах винных чертыхаясь
кельнерам талдычат каждый свою повесть
в этом ненадолго бардам уподобясь

Чудом избежавши этой кобры пылкой
он проводит время тет-а-тет с бутылкой
и о жизни грезит он неприхотливой
и скорее долгой нежели счастливой

Он ее впивает в златоцветах горбясь
жизнь бальзам целебный из цветов чья гордость
яркость и величье первые причины
их равно слепящих жизни и кончины

Вещи повествуют своей речью внятной
о согласьи райском луч в вино закатный

8 Зак. 1585

превращает воду в поднятом стакане
как Христос на свадьбе в Галилейской Кане

Ах вещей подобных масса повсеместно
и жильцу об этом за столом известно
большей окружаем он волшебной мощью
нежели сегодня сильвестровской ночью

Как весны знамена расцветает иней
уходя корнями в заоконный синий
сумрак и сидит он за столом недвижен
высаженной рамой горизонт приближен

Он сидит ладонью пресс-папье касаясь
в виде кисти женской только у красавиц
пальцы столь пресны и холодны бывают
и глаза он тотчас в страхе закрывает

Что это монета золотая либо
впаянная в льдину маленькая рыба
кровь которой с каждым мигом холоднее
и рука поэта замерла над нею

Что это за гостья даже пол не скрипнул
при ее приходе призрачном и скрытном
проскользнула пухом над его порогом
он слегка испуган и почти растроган

Ровного овала пальцы без колечка
как ладонь далекой выдуманной вечно
снящейся любимой что являя милость
руку протянула но не появилась

Робок он и в этой робости немеет
он ладони этой целовать не смеет
чистотой своею леденящей твердой
и прекрасной точно принадлежность мертвой

Впрочем в этой смерти и его заслуга
просто под влияньем сумрака недуга
на столе сгустился у его ладоней
в хладную туманность мир потусторонний

Что руке здесь этой надобно не худо
знать бы протянулась для чего откуда
в комнату где было так ему удобно
и куда отсюда увести способна

Что там в этих пальцах то ль письмо в конверте
то ли телеграмма то ли весть о смерти
то ли грозной тучи над волною абрис
и его откуда ей известен адрес

Что ей в ночь Сильвестра от поэта надо
мать отца сестренку любящего взгляда
он не поднимает машинальным жестом
в страхе осеняет знамением крестным

И схватив внезапно руку что белеет
бросить ее хочет но от страха млеет
слаб он для порывов и теперь надолго
замирает в кресле крестится и только

Ах зачем приходишь смерть к поэту в гости
в тот момент когда он открестился вовсе
от тебя и детства налил в чашку давишь
для чего на пальцы что коснулись клавиш

Ах зачем так рано ты пришла за мною
месяц не уходит прочь не став луною
обожаю звездный в небосводе хаос
и твоих враждебных пустырей пугаюсь

Я люблю всю живность даже червь мне дорог
впрочем лишь на грядках вечером с которых

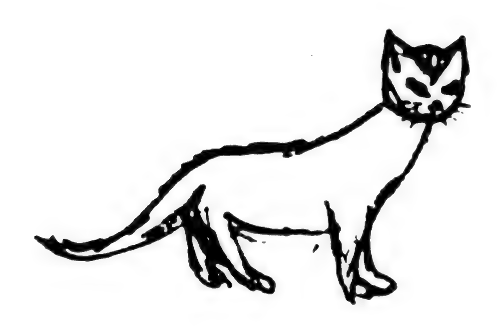
гусениц улиток мокрых собирая
мать с “летучей мышью” бродит у сарая

Громыхает чайник и потухшим взглядом
как у морфиниста что отравлен ядом
безрассудных мыслей собственных невольник
смотрит в темносиний четырехугольник

Смешанный со звуком и подобный звуку
Свет оттуда льется на девичью руку
и вскочив внезапно о печную вьюшку
разбивает эту наш герой игрушку

И валясь на койку бьется как в падучей
и стучит зубами ощущая жгучий
ужас перед мраком что подобно платью
все его кошмары облекает плотью

А снаружи пышный гомон новогодний
гул взаимных здравниц ночь и хоровод в ней
молча закрывает наш герой как рану
с каждым новым вздохом умирая раму



УМБЕРТО САБА

АВТОБИОГРАФИЯ

(фрагменты)

I

Был в плену солоноватой влаги
завернут мир безрадостного детства,
но из чернил возникли на бумаге
зеленый склон и хохолок младенца.

Боль, от которой никуда не деться,
не стоит слов. При всей своей отваге,
страшатся рифмы грустного соседства.
Ни об одном не сожалея шаге,

все повторил бы я, родись вторично.
Бесславие мое мне безразлично,
и чем-то даже радует меня,

что не был я Италией увенчан.
И, если грех гордыни человечен,
мой вечер привлекательнее дня.

2

Себя я отыскал среди солдат.
В заплеванной прокуренной казарме
впервые голос музы подсказал мне
слова сонетов к той, кто ждал назад.

Невидимые праздными глазами,
в них крапинками золота сквозят
свобода, ностальгия; и слезами

все это увеличивает взгляд.
Я был таким, как видела во сне
ты, Лина. Так ты сон свой описала,
что губ не отрывал я от письма:

“Ты возвратился моряком ко мне.
Как будто в отпуск. Я тебя встречала.
Ты был от жизни флотской без ума”.

10

Я ездил из Флоренции примерно
раз в год домой, и, окруженный нимбом
певца, как помнят многие наверно,
в салонах там стихи под псевдонимом

Монтереале читывал я мнимым
ценителем и ждал оваций нервно;
скрывать не нахожу необходимым,
что мне от сих воспоминаний скверно.

С д‘Аннунцию в Версале я встречался.
Он славился учтивостью и часто
бывал приветлив и со мною вроде.

Семье Паппини, издававшей “Вече”,
пожалуй, не понравился я вовсе.
Что ж, я принадлежал к другой породе.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ НА ПЛОЩАДИ АЛЬДРОВАНДИ В БОЛОНЬЕ

На площадь Альдрованди теплый вечер
нисходит с неба истинным супругом
к красавице, с которою обвенчан.

Галдят мальчишки, выпятивши губы:
ведь берсальеры встали полукругом,
задравши к небу золотые трубы.

Хребтами гор оливкового цвета,
долиной с малярией в осоке
окружены они и площадь эта.

Но вот капрала поднятые руки!
И рота дружно надувает щеки.
И в воздухе осеннем льются звуки:

сначала песня о прекрасном взоре,
чуть позже — вальс, что будоражит нас
и, наконец, напев вечерней зори.

И вся ты здесь, Италия, сейчас!

ГОЛУБИ НА ПОЧТОВОЙ ПЛОЩАДИ

Кустарник с шевелюрой темно-красной
взрыхленной клумбе тень дарит, и в ней
блуждает стайка голубей.
Умней
других и, вероятно, голодней,
один из них вразвалку и с опаской
приблизился к ботинку моему.
"Ведь человеку," — говорит он, — "все же
я верю, и не верю я".
"Я тоже," —
безмолвно я ответствую.
К тому
ж и площадь эту, где спешил я к другу,
что ждал меня, мне думалось, всегда,
фонтан с прелестной радугой и клумбу
с цветущими геранями, куда

разочарованной вернулась птица,
создали люди для людей, и ты —
увы, ты прав.
                        Кто больше усомнится
в их щедрости, в том больше правоты.

КНИГИ

Тебе назад я шлю твои (о да,
прекраснейшие) книги; я их вовсе
не открывал, лишь просмотрел. Отныне
другая книга предо мной — живая,
быть может и не стоящая тех,
но стоящая сказки. В этой книге
ни слова не написано пером:
она уводит прямо в мир пернатых.

Младенец, впавший в старость, я зубрю
их нравы, их обычаи. Купанье,
с ума жену сводящее, меня
в восторг приводит. И листочки в клюве
туда-сюда таскаемые. Жизнь,
сломав почти что все мои игрушки,
невиннейшую дарит мне: птенца,
родившегося в клетке и, однако,
в ней вовсе не томящегося. Можешь
над стариком смеяться; впрочем, лучше
ему простить.

ПИСЬМО

Шлю два стихотворенья. Это чьи-то
последние слова на свете, между
собой той нитью связанные, коей
ни твой поступок юный, ни война
не оборвали.
                    Ежели тебе
текст этой средиземноморской грезы,
отстуканной на пишущей машинке,
понравится, вложи его, будь добр,
в оставленную мною при отъезде
тетрадку синюю, где есть стихи
о Телемахе.
                    Скоро, полагаю,
мы свидимся. Война прошла. А ты —
ты забываешь, что я тоже выжил.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛИНУЧЧЕ

(фрагмент)

2

В глубине Адриатики дикой
открывался глазам твоим детским
синий порт. Корабли навсегда
уплывали. И белой пушинкой
дым над зеленью склонов всплывал
из эскарпов крепости древней
вслед за вспышкой и грохотом в небо
голубое, где таял.
Отвечал на салют неподвижный эсминец,
волны бились о мол, выдающийся в море
с расцветающей в сумерках розой ветров.

То был маленький порт, то был маленький дом
с дверью настежь раскрытой для всех сновидений.

САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО

* * *

В притихших этих улочках лишь ветер
то вяло ворошит изнанку мертвых
пожухших листьев, то взмывает вверх,
к оцепеневшим чужеземным флагам...
Быть может, жажда вымолвить хоть слово
неслышащей тебе, быть может, страх
пред ночью неминуемый, быть может,
строчить велит инерция... Давно
жизнь перестала быть сердцебиеньем
и состраданьем, превратившись в плеск
холодной крови, зараженной смертью...
Знай, милая газель моя, что та —
та старая герань еще пылает
среди развалин сумрачных... Неужто
и смерть, подобно жизни, разучилась
нас утешать в утрате нас любивших?

ПЯТНАДЦАТЬ С ПЛОЩАДИ ЛОРЕТТО

Эспозито, Фиорани, Фогоньоло, кто вы?
Квазирачи, Сончино, Принчипато, кто вы?
Вертемари, Гаспарини, Тьемоло, дель Ричи,
кто вы?
Кто вы?
Кто вы, имена или тени?
Кто вы, истертые слова надгробий?
Галамберти, Бравьи и Ранья,
Мостродоменико и Полетти, кто вы?
Вы листья крови на древе крови.

О, кровь, драгоценная кровь наша,
которая, упав на землю,
землю не загрязняет.
О, красная кровь,
что из черной земли рождает
новые жизни для скудной земли сраженья.
О, кровь. Кровь пятнадцати павших.
В телах ваших,
В глубинах ранений ваших
Зияет бездна нашего униженья.
    И дерево машет во мраке кровью.

Огромное время пятнадцати мертвых,
                                        пятнадцати мертвых
бредет по широкой площади Лоретто,
                                        бредет угрюмо.
Огромная смерть пятнадцати мертвых
                                        становится на колени
и склоняет голову при погребальных залпах.
Но над коричневыми дверями вашего Рима,
                                        над вашим Римом
чужие флаги опять бормочут о вашей смерти,
считая убитых еще живыми, еще живыми,
они бормочут о вашей смерти, боясь отмщенья.

Но наша смерть — это не скорбь о жизни,
                                        не скорбь о жизни.
Но наша жизнь — это не скорбь о павших,
                                        не плач надгробный.
Рожденье наше и наша гибель —
                                        теперь едины.
И наша смерть — это выкрик жизни
                                        в тени бессмертья.

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

ПАВШИМ ЗА СОЮЗ

Relinquunt Omnia Servare Rem Publicam.

Старый аквариум Южного Бостона
тонет нынче в снежной Сахаре.
Разбитые окна зашиты дранкой.
Треска на флюгере потеряла
половину бронзовой чешуи.

Резервуары пусты. Когда-то
мой нос елозил по этим стеклам,
словно улитка. А пальцы хищно
тянулись к всплывающим пузырькам,

чтобы взорвать их. Сейчас моя
рука опускается. Я вздыхаю
по вегетировавшему во мраке
царству рыб и рептилий. Год

назад морозным мартовским утром
я стоял, привалившись к железным прутьям
какой-то ограды в самом центре
Бостона. За ее гребешком

желтый шагающий динозавр,
шуруя чугунными плавниками,
выщипывал тонны травы и мха,
долбя гараж в пластах неолита.

Нехватка стоянок рождет в сердце
Бостона горы песка. Кольцо
пуританских, оражневых, цвета тыквы
брусьев — сжимает в объятьях дом

Законодательного Собранья Штата.
А стоящий напротив полковник Шоу
и его негритянские пехотинцы,
чьи надутые щеки как пузыри

облепили подножие монумента
жертвам Гражданской войны — шедевр
Сент-Годенса. Постаменты
от возможного потрясенья защищены.

Спустя два месяца после того,
как промаршировал через Бостон
полк, половина негров была мертва.
При освященьи Уильям Джеймс

мог расслышать бронзовый ропот негров.
Монумент торчит, точно рыбья кость
в горле города. И полковник
худ как компасная игла.

Злой и бдительный, как крапивник,
благородно напрягшийся, как борзая,
Он словно морщится от удовольствия,
задыхаясь без уединения.

Он насладился присущей лишь
человеку странной манерой — выбрав
жизнь, умереть. Ведя на смерть
своих черных солдат, он главы не клонит.

Старые белые церкви стоят
среди тысяч и тысяч лужаек в тихих
городках Новой Англии, напоминая
разъединенных повстанцев. Год

от года абстрактный союзный солдат
стройней и моложе. У новых статуй
осиные талии. Сжав мушкет,
они дремлют и прячут улыбку в бачки.

Отец полковника не хотел
никаких монументов, за исключеньем траншеи,
куда было брошено тело сына
истлевать с телами его черномазых.

Траншеи ближе. Тут нет никаких
монументов последней войны. На Бойлстон-
стрит коммерческая витрина
знакомит всех с Хиросимой, бурлящей

над Мослейровским сейфом — “Скалой Веков” —
уцелевшим в бомбежке. Пространство ближе.
Когда я включаю свой телевизор,
голодные личики негритят

предо мной взбухают, как цеппелины.
Полковник Шоу плывет верхом
на своем большом пузыре. Он ждет
прикосновения пальцев, взрыва.

Аквариум сгинул. Везде, повсюду
толпы гигантских машин с плавниками
тычутся носом вперед, как рыбы,
с первобытным подобострастьем.

РИЧАРД УИЛБЕР

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ

После последних известий темно
В окнах, и город без лишних слов,
Ныряя в подушки, идет на дно
В Атлантиду, полную частных снов.

Поднимается ветер и гонит вдоль
Обнаженных аллей и безлюдных троп
Ежедневную жвачку. Печатный вздор
Распинает себя на оградах, чтоб

Тотчас воскреснуть. Мятежный сонм
Мечется в парке, заносит пруд,
Злые крылья по честным устам
Хлещут немой монумент, скребут

Благородное имя. На пустырях
Смятость, скрученность в жгут, рванье
Наших газет представляет крах
Всего, что мы думали, чье вранье

Мы поглотили. Пускаясь в пляс,
К пяткам патрульных вся эта мразь
Липнет. Так снег кулаками тряс
Бронзе копыт, превращаясь в грязь,

В злобе бессильной металл кляня.
Когда ж, очнувшись от забытья,
Вспорет морозную пленку дня
Голос диктора, ты и я —

Мы к жизни вернемся сквозь пасть метро
От смуты сердечной и дел пустых

С газетой, вышедшей поутру,
В парк, где похожие на святых

Люди с мешками, склонившись ниц,
Вонзают копья в отживший сор,
И шум их шагов превращает птиц
На ветках общественных спящих, в хор.

ГОЛОС ИЗ-ПОД СТОЛА

Роберту и Джейн Брукс

Как жен познать, как поглощать вино?
Наш мир неплох; но я взалкал, узрев
Графином солнце как поглощено,
Познать иной, чья норма — перегрев.
Мой тост искрист за птиц в огне древес,
Столь искренне поющих, что пьяны;
Весь фосфор моря выхлебав, я весь
На дно печали свергнут с вышины.

Ты не забыл, прямоходящий люд,
Когда любовь гнала нас из лесов,
Как ветр взывал "О вы!" от скорби лют,
И подкосил мне ноги этот зов.
И в жажде сей преодолеть испуг
Я окунулся в речевой родник.
Но и святых прикосновенья рук
К моей спине усугубляли крик.

Затем богиня и решилась всплыть
И над волной бутылочной восстать,
Чтоб вкусом тайны жажду утолить
И к Югу жар любви адресовать.
И зрел я деву подле этих вод,
Чья кожа точно влажный сердолик,

И моря зеленеющий живот,
Приблизясь к ней, воспламенялся вмиг.

“В прозрачных пальцах миртовый росток
И зыбкой тенью волосы до плеч..."
Не создан ли был вызвавший восторг
Тот свет из тьмы, нас жаждущей облечь?
Не бормотал ли Архилох спьяна?
Не жажда ли возвысила слова?
Все это так; но ясно, что она
Была прекрасна, а теперь мертва.

Елена столь абстрактной не была,
О чем скрипят в симпозиумах, но
Из тех она беглянок, чьи тела
Пленить мужским орудьем не дано.
Кусай же ногти, Трою не круши,
Но жажда вечно превышает дно.
А что до краха чувств или души,
Они, по мысли дьявола, одно.

Оставь же дурнем, Господи. В дыму,
Средь грязных луж. Смиренью не учи.
Я — мученик, терпенью Твоему
Горизонтальный памятник в ночи.

Полупомеркший возвышая взгляд
И пол залитый пальцами скребя,
Я ляжек подавальщиц зрю парад.
О мир тщеты! — я возвращусь в тебя.

ЖИВОТНЫЕ

Животные, благодаря своей
Свободе, ночью мирно дремлют. Чайке
На камне грезится гладь моря в лунном свете,
И рыба лунная лицом на камне спит,
Внимая водяную песню,

Чьей музыке созвучен всплеск
Не оставляющих следов копыт оленьих,
Писк мыши вспоротой, в когтях совы парящей
Над лунной гладью. Ибо нет здесь той
Кромешной темноты и боли,

Чьи маски эта самая луна,
Дробясь в окошках, зрит, усугубляя
Терзанья оборотня, впившегося в мокрый
Диванный валик, дабы вспомнить, что
Он чувствовал в мужском обличьи.

Но вспоминанье переходит в сон;
И, ткнувшись в жесткий для лица, но мягкий
Для морды мех, он острым слухом внемлет
Стенанье ветра, панику листвы,
Гул затихающего водопада.

В плену стекла тем временем, вдали
От логов, падей, чащ, жрецы искусства
Томятся бдением. Но, воссоздать пытаясь
Красу небес щемящую, лучи
Луны, таящегося зверолова,

Ужасные они лелеют для
Сердец виденья, воронье сажая
На темя статуям, вводя в дома чудовищ
И рыбам скармливая целые флоты
В глухих пучинах.

БАРОЧНЫЙ ФОНТАН В СТЕНЕ НА ВИЛЛА-СКЬЯРА

Из-под бронзы венца,
Столь громоздкой для мраморных мелких кудрей
Херувима, чьи пятки прожорливый змей
Поглощает, струя, щебеча и залив до конца

Чашу первую, из
Этой чаши стремятся в другую, но, бросив пустой,
Низвергается вниз
Шумной прядью в массивную третью; из той,

Перепрыгнувши чрез
Край зубчатый, дробится на нити, и вот, невесом,
Плещет летний навес
Над семейкою фавнов и их одиноким гусем.

И счастливый, о да,
В этом щебете, блеске и плеске, и пляске воды,
Как герой чехарды,
Козлоногий божок без труда

Подпирает собой
Пирамиду из раковин, слушая визг
Увлеченных борьбой
Своих отпрысков в отблесках брызг.

А фавнесса его,
Теплой плотью мерцая и впав в забытье,
Созерцает бегущего кружева бликов почти волшебство,
И улыбка ее

Преломляется на
Дне песчаном, где сеть из рябящих теней сплетена,
Что хмельнее вина
Для сетчатки зрачка, а для мысли она

Бесконечней нулей,
Наслажденья являющих сумму. Но раз
Этот пир пузырей
Лишь одно наслажденье, не лучше ли нас

Воплощает иной
Заурядный фонтан, что Мадерны воздвигла рука
У Святого Петра — ибо там главный столб водяной
Рвется к небу, пока,

Успокоенный фактом движения ввысь,
Сам не склонит чело.
Это — тяжесть, рожденная, чтоб вознестись
К небесам, где светло

Преломиться, слепя
Глаз, и вниз шелковистой скользнуть бахромой,
Продолжая себя
И в камнях аплодируя щедро себе же самой.

Если в этой черте,
Если в этих святых водяных наша цель и итог,
Образец areté,
Что тогда эти мокрые фавны и весь их чертог?

То — сама полнота,
Не́прерывность желанья того, что дано.
Не томит их жара, ни назойливых струй суета,
Ни морщинами — дно.

Нашей скуки отврат
Ненасытностью к жизни в бессменном кругу
Порицают они. Так Франциск, у пресыщенных врат
Замерзая в снегу

И хваля вместе с тем
Небеса, в этом был бы увидеть готов
Не безделье, но тень
Благодати — ту землю терпимых цветов,

Обетованный край,
Где глаза стоят солнца и пальцы — воды,
Куда сердце стремится и где невзначай
Оставляет следы.

ЧЕРНЫЙ ИНДЮК

Отряд из девяти цыплят —
Все молоды, белы, как на подбор —
Бредет через засыпанный мякиной
И стружкой двор,

И поднятая ими пыль,
Поскольку полдень солнечен и сух,
Расцвечивает всей палитрой спектра
Их нежный пух.

Не ярок и не тускл,
Во двор индюк вступает в этот миг,
Таинственный, величественный, словно
Туз пик.

Сам собственный кортеж,
Чтоб не застала смерть его врасплох,
Он репетирует дрожащим зобом
Последний вздох.

Сопровождая плеск
Хвоста и старых перьев взмах
Тем хладным шумом, с коим ветер гонит
Бумажный прах,

Над кривизною ног
Огромный, черный движется живот,
Как туча над кустом, как бриг поверх
Мятежных вод.

Костистая глава
На шее, отдающей синевой,
Как маска, снятая с лица святого, тусклый
И суетности чуждый свой

Взор устремляет на
Весь этот кукарекающий сброд,
Чьи вопли, день за днем, с вульгарным пылом
Творят восход.

ШПИОН

С глухим гуденьем первая волна
уже проходит за его спиною
над городом, который навсегда
покинул на рассвете он в казенном
рыдване, всеми шинами его
лобзая мокрый от дождя булыжник;
и скрип часов на ратуше у врат
Сент-Безила, ронявший наземь время,
исторг слезу. В их глуховатом гуле
ему в тот миг почудились гудки
и лязг бегущих по равнинам мира
составов, пароходные сирены,
гром цепи выбираемой — вся эта
сжимающая внутренности гамма
отбытия, прощанья... Но сейчас,
здесь, в этой роще, в месте рандеву,
мундир навечно зарывая в листья
акации, застегивая свой
жилет крестьянский, он спокоен. Небо
над рощей набухает мерным гулом
бомбардировки, самолеты строем
плывут сквозь тучи, городок трясется
от взрывов, вспышек; и огонь в одном
из окон ратуши гласит, что садик

с фонтанами, где он по вечерам
тянул коньяк, и созерцал толпу,
засыпан щебнем и стволы пылают.
Но он — он смотрит именно туда.
В его глазах не столько жалость, сколько
внезапная растерянность, которой
он вовсе не испытывал, когда
он прибывал сюда, когда над полем,
как одуванчик легкий, парашют,
качаясь, плыл к мерцавшему украдкой
фонарику, и залитое лунным
сияньем поле шло ему навстречу.
Тогда, ночуя в погребе, среди
каких-то бочек, ведер, он не пекся
о деле, не страшился, что погрешность
в его бумагах иль в одежде вдруг
предаст его, но наслаждался, лежа,
сырым дыханием корней, земли
и древности; а утром, прячась в сене,
он на возу внимал бренчанью сбруи
и скрежету ободьев, а потом —
потом тот поезд! Все купе битком
забиты возвращающимся с празднеств
веселым людом, говорящим о
прыжках через костер, венках смолы
и танцах. Словно знающий напамять
все каталоги коллекционер,
найдя на чердаке иль в пыльной лавке
кулон от Фаберже или тет-беш
с Мартиники, он с жадностью вбирал,
оценивая точно, блеск их полу-
восточных глаз, заглатыванье гласных,
оборки, складки, запах брюк и кожи,
телепатические пожиманья
плечами, заменявшие им речи.
Укачиваем поездом, согретый
телами, смехом, местной акватинтой,
он ощущал, как подлинные жесты

овладевают пальцами: он впредь
из правой в левую не перекинет вилку,
крестясь, не станет уж креститься справа
налево. Возмужавший не в культуре,
но в ветреных краях, не тяготясь
поэтому привычками, легко
усвоит он все пламенные нравы
и ритуалы из страны, к столице
которой он в то утро подъезжал,
чтоб вызвать и предать. Но ровный рокот,
как хриплый кашель в горле василиска,
прокатывается над пограничным полем:
громады танков раздвигают рожь,
за ними — цепью — пыльная пехота.
И, узнавая тусклый цвет их глаз
и поступь тел, тяжелых от домашней
мучной еды, он вспоминает свой
дом, сад, площадку с гравием и посвист
ночного ветра. Скверно быть изъятым,
он думает, из собственной судьбы,
из недр patria, и оказаться
чужим для всех подкидышем. И тут
он вздрагивает от ненужной мысли:
что, если по ошибке иль случайно
солдатам неизвестно ни о нем,
ни о его заданьи? Как солдаты
его воспримут — нервный человек,
в крестьянском платье, говорящий с местным
акцентом, неспособный вспомнить улиц
родного городка? Поставив к стенке,
не будут ли они в итоге правы?

Он прижимается к стволу и ждет.

ХАИМ ПЛУЦИК

ИЗ ПОЭМЫ "ГОРАЦИО"

II. КОНЮХ

Тяжелый стук подков разрушил полночь
и замер возле Везерской таверны.
И Ричард, конюх, выскочил во двор,
держа над головой фонарь, заливший
кромешной темнотой его глазницы
и яму рта.
"Привет! Ну что, слыхал?"
"Держи-ка лошадь," — буркнул я. — "О чем ты?"
"Да все насчет дворца. Вот это штучка!
Да-да, та сучка, в чьей лоханке наш
прелестный принц плескался, как приспичит.
А он был похотлив, как сотни наших
козлов соседских... Что ж, теперь он мертв.
Хотя король и королева — тоже."

"Послушай, что ты мелешь?"
"Я мелю?
Ты прибыл с севера и ничего не знаешь?
Безумный Гамлет, прошлый год убив
отца, на этот раз прикончил сразу
двоих: беднягу Клавдия и мать —
во время сна он влил им в уши яду
(а яд ему всучил какой-то призрак).
Но родич их норвежский Фортинбрас
покончил с этим дьяволом удачным
движеньем шпаги, наконец. И ныне
он наш король, храни его Господь".

Фонарь качнулся к него в руке.

“Послушай,” — начал я, — “я прибыл прямо
из Эльсинора. И меня зовут
Горацио, который...”
“Полно врать-то!
Я знаю, кто ты. Ты — школяр и едешь
к своим пьянчужкам в Виттенберг зубрить
Плутона, Гарри Стотеля и прочих.
Горацио здесь был на той неделе
(мы разминулись). Да, шикарный тип.
Все пальцы в перстнях — истый царедворец.
Он, кстати, первый, кто разоблачил
делишки принца. Этот самый Гамлет
завел себе щебечущую курву,
по имени Оливия, и с ней
играл в очко и в двухэтажный домик —
ты понимаешь, что хочу сказать.
У нас тут тоже кое-кто найдется,
и, если у тебя есть лишний пенни,
все будет в лучшем виде и, заметь,
без насморка. Сейчас поставлю лошадь,
и мы вас познакомим... Но скажи
(раз ты придворный), правда, будто принц
так доходил, что набивал себе
солому в ноздри и клохтал, как кура?
И будто он мочился прямо в ров
из окон замка? Правда, будто в кости
играл он с Гогом и Магогом? Правда,
что вместо шляпы он носил горшок
и заводил беседы с мертвецами,
и с рыбами в воде, и просто с ветром?
Подробностей не знаешь?”

Отвернувшись,
я сделал несколько шагов к забору
и обнаружил звезды. Постояв,
я все-таки решил вернуться снова
туда, где силуэты трех огромных
и медленно жующих корм животных

маячили, как контрфорсы тьмы,
и на гнезде в углу фонарь курился.

"Со временем," — я начал, — "ты поймешь,
что это — ложь." — И замолчал, припомнив
неповторимый голос, призывавший
Горацио —
и никого другого! —
хранить от посягательств честь и имя.

"Поверь," — воскликнул я, — "меня зовут
действительно Горацио. И я
был верным другом дорогого принца..."

"Как дорогого, если он убил
отца?"
Я продолжал, как мог спокойно:
"Отца убил не он, а дяда Клавдий,
впоследствии король. Пока тот спал,
он налил в ухо яд".
"Но точно так же
и Гамлет отравил нам короля
и королеву!"
"Он не отравлял их."
(Спокойствие — не вечный спутник правды.)
"Да. Клавдия он просто заколол..."
"Ха!"
"... Как убийцу своего отца."
"Смотри, как просто! Ну, а королеву?"
"Она и вправду умерла от яда."
"Который в ухо залил ей сынок?"
"Нет, выпив тот, что приготовил Клавдий
чтоб..."
Он докончил: "Отравить жену?"
"Нет, Гамлета, на случай, если плохо
сработает отравленная шпага."
"Какая шпага?"
"Та," — уже сквозь зубы

я процедил, — “которую вручили
Лаэрту для дуэли с принцем.”
"Стоп!
Что за дуэль и кто такой Лаэрт?”
“Сын канцлера Полония.”
“Ну, здесь, ты
попался! Сына звали Розенкранцем!”
“Нет,” — возразил я, тяжело вздохнув. —
“Нет, Розенкранц — то был приятель принца,
с которым он учился.”
Тут в глазах
его сверкнуло дикое злорадство:
“Нет! Ты ошибся! То был Гильденстерн!
И объясни уж, как могло случиться,
что Гамлет короля проткнул той шпагой,
которая была в руках Лаэрта?”
“Они с Лаэртом просто обменялись
оружием во время поединка.”
“Что, и Лаэрт такой же псих, как Гамлет?
И почему вообще, скажи, король
(как ты здесь утверждаешь) так стремился
прикончить принца?”
“Потому что принц
открыл, что он убил его отца”.

Я замолчал, обдумывая бегство
от жалкого врага и жалкой битвы,
но клятва, данная на смертном ложе,
негнущийся металл — и я промолвил:
“Послушай, я — Горацио. Я друг
честнейшего, прекраснейшего принца,
какого только видел этот мир —
друг молодого Гамлета. Однажды
в полночный час ему явился призрак...”
“Имевший при себе флакончик с ядом?”
“... явился призрак мертвого отца,
и он поведал принцу, что отравлен
был Клавдием, отнявшим у него

трон вместе с королевою. И призрак
потребовал отмщенья."
"И тогда-то
принц, наконец, прикончил короля?"
"Нет, не тогда. Принц не был убежден,
что призрак был реален и слова
его правдивы (были и другие
сомнения, потоньше). Но когда
во время представленья Клавдий начал
бледнеть и шепотом читать молитвы,
тогда-то принц и понял: вот он, Каин."

"И только? И поэтому твой принц
решил, что тот виновен?! Но послушай!
Я тоже, слушая тебя, бледнею.
Выходит, я убийца? Боже правый!
Того гляди, ты станешь утверждать,
что эта дрянь, Оливия, на весь
дворец оравшая похабства, целка!
Что Гамлет не безумец, а философ!
Как Гарри Стотель и Плутон... Постой-ка!
Ведь он убил Полония. За что же?"

"Нечаянно. Приняв его за крысу."
"Катись отсюда прочь! Не то я сам
приму тебя за мышь! Катись отсюда!
И спи один! Ты не получишь девку."

III. ФАУСТ

"Werden und Sein" *, старинная дилемма!
Плесните мне еще германской жижи,
ужасной нёбу, помнящему вкус
священных, сочных италийских гроздий!.."
Спустя двенадцать лет, как умер принц,
пожалованный добрым Фортинбрасом
в лорд-канцлеры, имея земли и
все, что предполагает оный титул,
я — возвращаясь из посольства к Папе —
заехал в старый, милый Виттенберг
и вот сидел в знакомом кабинете
с остробородым Доктором, когда-то,
любимым мной, да и не только мной.
Увы, с тех пор, отрекшись от Христа,
он — имя мы опустим — он свернул
на ту тропинку, что ведет к проклятью,
и собственною кровью, говорят,
скрепил контракт свой с Князем Тьмы.
Однако
тогда, в те годы, не было в Европе
ума пронзительней — нигде: в Париже,
в Болонье, в Оксфорде.
"А, лорд Горацио!
Я так вам рад! Мой разум стосковался
по кости с мозгом! Мысль моя украдкой
блуждает в европейской клетке, полной
прелатов, королей, хозяев, быдла,
альянсов, войн, ударов, контрмер —
всей этой жвачки, — в поисках основы
вещей, точней — течения вещей,
как Гераклит сказал бы. Или, если
угодно, чтобы найти в безумной груде

---

* "Становление и Бытие" (нем.)

чудовищных событий этих лет
их тайный смысл, их философский камень —
металл значения в горе руды.
И вот, пока, весь в саже, бьюсь над горном
среди вонючих альп пустого шлака,
являетесь вы со своей (почти
банальною) историей о принце
и достаете голыми руками,
пожалуй, самый философский случай
из хроники прискорбной наших лет.
А что бы вы, мой друг, из этой всей
истории назвали главным эрго?"
"Что принц был прав," — я начал.
"Ба! да вы —
вы говорите, точно второкурсник."
Я вспыхнул: "Прав как человек и как
христианин, как принц и..."
Тут он фыркнул:
"Суть в том, мой друг, что Клавдий, королева,
Офелия, ваш принц, вы сами, призрак
и весь ваш длинный список привидений —
отнюдь не люди."
"То есть как — не люди?
А Гамлет?"
"Милый друг, как раз ваш Гамлет —
он меньше прочих. Ибо человек
становится, уйдя и сферы частной
истории в универсальный мир,
уже абстрактным символом, предметом
высокой философии; и нет
ему возврата в мир костей и плоти.
И нечего размахивать цепочкой
случайностей — что делал тот иль этот
Такого-то Апреля, — это то же,
что строить на песке. А ваш приятель
сбежал на неприступную скалу." —
Он отхлебнул. — "Да, это согревает
желудок! нет, не шнапс, а эта ваша

история. Хотя вообще — в чем суть
всех откровений нашего безумца,
всех этих сантиментов: “быть — не быть”?
В конце концов, все это только эхо
дилеммы нашей — вечных Sein und Werden —
что означает: “быть” и “становиться”.
Но что есть это самое “не быть”?
Пусть грустная, но форма Становленья,
а Становленье суть синоним жизни —
бурливой, неустойчивой, как мысли
красавицы. Тогда как Бытие
столь вечно, что почти синонимично
Небытию, в вульгарном смысле — Смерти.
И спрятанные в “Быть-или-Не-Быть”
альтернативы непереводимы
как “жить иль умереть”, но ровным счетом
наоборот: как “умереть иль жить”!
(Я запишу, ей-Богу, славно.) Впрочем,
пойдем чуть дальше.
                                        Если Бытие
и Становленье суть два рога нашей
дилеммы (чем же мы не рогоносцы?),
а Становленье, как я доказал,
есть эта жизнь, чья щедрость, скоротечность
сродни траве полей, то Бытие —
явленье как бы высшего порядка.
Итак, альтернатива больше не
меж жизнью — Бытием и Становленьем —
суть смертью, но, скорей, меж высшей жизнью,
меж сферой духа, там, где человек
одно с Идеей, то есть вечен, — и
меж сферой мелких обстоятельств, сферой
тупых придворных, мертвых королей,
развратных королев и привидений,
гнездящихся в подвалах. Мы-то знаем,
что предпочел лорд Гамлет.”
                                                  Я тонул
в водовороте слов.

"Но остается," —
он улыбнулся, — "череп."
"Череп?!"
"Череп
Иорика, шута. Вот это символ!
(Поскольку плоть — лишь оболочка духа,
как весь наш мир — забытый Богом дом.)
Да, это символ: дна, земли, подножья
той лестницы, где нету Бытия,
где все — лишь Становленье! И отсюда
мы, поднимаясь шаг за шагом, видим
слуг, лордов, королеву, короля,
стоящих — каждый на своей ступеньке —
по мере их сближенья с Бытием.
И вот мы достигаем высшей точки.
И кто же," — подмигнул он, — "милый друг,
из наших общих там стоит знакомых?"
"Конечно, Гамлет!" — я воскликнул.
И,
клянусь я, он готов был согласиться,
когда из губ, уже сжимавших "да",
рванулось "нет!", и извращенный пламень
сверкнул в его глазах. "Не Гамлет, нет!
но..." — (пауза актера) — "призрак!"
"Призрак?"
(Он превратить способен в попугая.)
"Да, призрак, дух отца... Ах, как все это
желудок согревает!" Он наполнил
бокалы наши, отпил и, еще
не проглотив, уже понесся дальше:
"Итак, рассмотрим уровни. Возьмем
символизирующий землю череп
и призрак — символ духа. Так. Сложив
их вместе, мы получим человека —
банальный винегрет из Бытия
и Становленья. Но отнимем череп:
в остатке — чистый дух. Отнимем призрак,
и остается голая земля.

9 Зак. 1585

Но," — и в лицо мое уткнулся палец, —
"но переходим в следующий круг.
По самоей своей природе призрак
есть вещь, которой более всего
венчать пристало лестницу. И это
нас переводит в третий круг, где призрак
есть тот предел, к которому наш принц,
как все на свете, видимо, но также
как движущая сила этой мрачной
истории, стремится, видя в нем
цель всей своей возвышенной борьбы,
последнюю и высшую реальность!
Хо! Это — новый, совершенный круг!
Мы переходим здесь от духа к духу!
От призрака отца, что заварил
всю эту кашу, к призраку, который
гораздо выше, — к вашему дружку, —
достигшему, расхлебывая это,
столь полного расцвета, о котором
поведал он в той фразе... Да, от духа
отца и к духу сына... и потом...
Хо! Эврика..."
Исполненный неверья
взгляд оживил черты его, и он,
макнув перо в бутылку, стал царапать
отрывочные фразы на клочке
бумаги, бормоча: "Но это... это...
ха-ха, компрометирует, мой друг,
Святую Трои... Колесо внутри
другого колеса... ха-ха... орбита
внутри орбиты..."

Глядя на него,
казалось мне, я видел пред собою,
как каракатица шевелит тыщей
мохнатых лапок. Как ее схватить,
пока она всю кровь мою не выпьет?
Но — долгожданный крик: "Милорд! Карета!"

Он чуть не вывихнул мне руку: “Вы мне
ответите, когда я напишу.
Там будут новые вопросы. Ладно?'
Благодарю... благодарю... прощайте”.

ЭНДРЮ МАРВЕЛЛ

ГЛАЗА И СЛЕЗЫ

Сколь мысль мудра Природы — дать
Глазам рыдать и наблюдать,
Чтоб, вещь найдя ничтожной, глаз
Мог жалобу излить тотчас.

Но Зренье, льстя, углы не те
Находит каждой высоте;
Слеза ж — и под углом небес —
Верна, как водяной Отвес.

Так, скрупулезно взвесив груз
Двух слез во влажных Чашах, Грусть,
Дав замереть им наравне,
Оплачивает Радость мне.

Все то, что ценит Мир и чтит
Как ценность Ювелир, блестит
Слабее, говоря всерьез,
Чем длинные Подвески Слез.

Среди Цветов бродя любых,
Из Алых, Белых, Голубых
Я чашечек, склонясь, впивал
Не Мед, но Слезы добывал.

Всевидящего Солнца зрак,
Стремясь очистить Землю, так
Горячий заменяет Луч
Холодным содержимым Туч.

И все ж блажен Скорбящий взгляд:
Кто больше плачут, меньше зрят.

Их Зрение, как нож косы,
От собственной острей Росы.

Так слезы Магдалины, чей
Поток впитал красу Очей,
Спасителя — цепям сродни
Прозрачным — оплели ступни.

Грудь парусов, влекущих в дом,
И плод во Чреве Пресвятом,
И Лик Луны — бедней в сто раз
Набухшей плачем пары глаз.

Теряет Взор, сулящий Страсть,
В сих Водах жар; теряет власть
В них ярость Громовержца вся,
С шипеньем Молнии гася.

Не Запах ладана, но Дым,
Слезу творящий, в Небе чтим.
И Звезды ночью в высоте
Суть Слезы Света в темноте.

Отверзни ж, око, хляби днесь,
Чтоб Высший Долг исполнить здесь,
Где тварям всем даны Глаза,
Но лишь в Людском блестит слеза.

Пусть из набрякших Туч — из Глаз
Два ливня хлынут вниз сейчас,
И пусть поглотят, скорбь неся,
Как два потопа, всех и вся.

О, пусть сольют сих Вод ручьи
Глаза и Слезы, свойства чьи,
Смешавшись, новый мир творят,
Где Зренье плачет, Слезы зрят.

НИМФА, ОПЛАКИВАЮЩАЯ СМЕРТЬ СВОЕГО ФАВНА

Стрелою праздной уязвлен
Мой фавн, и умирает он.
О злые люди! Никогда
Ты им не причинял вреда,
Смерть пользы им не даст твоя.
Вовек им не желала я
Дурного; несмотря на весь
Кошмар, не пожелаю днесь,
Ни впредь. Но стану слезы лить,
Чтоб небо умолить забыть
Твое убийство: вес мольбе
Прибавят слезы... Но тебе
Так больно, ах! Небесный Царь,
Всему ведя свой календарь,
Им праздных не простит утех;
Зверей он убивать и тех
По справедливости велит.
Пусть с грешных рук омоют стыд
Они в крови твоей, мой взгляд
Слепящей, пусть меня сразят, —
Им не очиститься: пятно
На душах их нанесено
Тем пурпуром, чей след не смыть,
И нечем грех им искупить.
Неверный Сильвио (в тех дни
Еще не ведала я ни
О чем) однажды на порог
Мой, за серебряный шнурок
С бубенчиком вот этим взяв,
Привел его ко мне, сказав:
“И фавна приучить я смог
На ласку расставлять силок.”
Но, ах, он фавна приручал,
Мой Сильвио, — а сам дичал.
Ко мне утратил интерес,

Он, фавна подарив, исчез.
С тех пор свои пустые дни
Я стала убивать в тени
Играя с фавном, и вполне
Казалась эта жизнь по мне.
Он был забавен и легок
И на ногу, и сердцем; мог
Ласкаться и, казалось, рад
Был ласковый встречать мой взгляд.
Ах, злой быть не могу, поверь,
И к зверю, если любит зверь.
Подольше он живи, как знать,
И он не стал бы изменять
Как Сильвио? — лжецов дары
Нас тешат только до поры.
Но, судя по тому, что я
Успела ощутить, твоя
Любовь была честней мирской
Предательской любви людской.
С руки сладчайшим молоком
Кормился он и сахарком,
И становился (ибо дни
Текли) белей он, чем они.
Дышал так сладко! Я пред ним
Краснела: он был несравним
Лицом со мной — да что со мной! —
С любой красавицей земной.
Как на серебряных своих
Копытцах он был скор и лих!
С каким изяществом скакал
Со мною взапуски! Как ждал,
Коль отставала я! И вновь
Прочь уносился, вскинув бровь!
Той резвости здесь нет ни в ком:
Он ветром точно был влеком.
Свой сад есть у меня: зарос
Лилеями, кустами роз,
Как дикая он чаща весь.

Весеннею порою здесь
Он пасся. Но поди найди
Его лилейных клумб среди,
Пока не выглянет он сам.
Бывало, не моим глазам
Сыскать его среди лилей,
Которых он был сам белей.
А розами питался он.
Живой напоминал бутон
Цвет уст, и отпечаток их
Цвел часто на устах моих.
Но паче всяких ласк он рад
Был, роз впивая аромат,
С улыбкою тонуть рдяной
В лилейной влаге ледяной.
Живи он дольше, видит Бог,
Он сделаться б снаружи смог
Лилеей, розой — изнутри...
О! Помогите мне! Смотри:
Теряет он сознанье, ой!
Он гаснет тихо, как Святой!
И слезы медленно текут,
Подобно камеди в сосуд.
Так плачет бальзамина ствол,
Ножа познавший произвол.
Так плакали, творя янтарь,
По брату Гелиады встарь.
В сосуде сохраню златом
Двух слез его хрусталь; потом
Своих волью я и снесу
Его к Диане в храм в лесу.
Мой нежный фавн уходит, ах,
В Рай лебедей и черепах,
Где горностаи по весне
И агнцы спорят в белизне.
Постой! Надгробье опишу
Твое, пока еще дышу.
Из мрамора, как я, бледна

Там будет статуя; должна
Она быть плачущей; но тут
Пусть скульптор пощадит свой труд,
Затем, что, по тебе скорбя,
Из камня буду плакать я,
Покуда ежедневный путь
Слез этих не источит грудь.
У ног моих и ляжешь ты,
Из алебастра — чистоты
Небесной: белизною тел
Небесных на земле ты бел.

ЗАСТЕНЧИВОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Коль Божий мир на больший срок
Нам щедрый выделил бы рок,
Твоя стыдливость, Леди, не
Казалась бы преступной мне:
Могли б мы сесть и обсудить
Как лучше День Любви убить,
Сверкал бы Ганг в твоем глазу,
А я бы в Хамбер лил слезу.
Я б до Потопа десять лет
Тебя любил, а там мне "нет"
Твердила бы, себя храня,
До Судного, наверно, дня.
И вширь, и вглубь росла б, как власть
Империй, медленная страсть.
Я сотню лет на похвалу
Потратил бы глазам, челу;
На бюст, конечно, пару сот,
И тридцать тыщ для всех красот,
Что ниже. Каждый век к тому —
Век гимнов сердцу твоему.
Ты, Леди, сей подстать цене.
Любить дешевле скучно мне.

Но за спиною все сильней
Гром крыльев колесницы Дней;
А впереди, пугая взгляд,
Пустыни Вечности лежат.
С твоей красой одну судьбу
Там мой напев вкусит в гробу,
И червь нарушит, сделав месть,
Столь охранявшуюся честь,
Невинность обратится в пыль,
Мои поползновенья — в гниль;
Могилы — недурной приют,
Но там обняться не дают.
Итак, покуда цвет ланит
Вкус утренней росы хранит,
А в порах кожи — только тронь! —
Скрыт жаждущей души огонь,
Давай пожрем в борьбе себя
И — как стервятники, любя, —
Поглотим Время на лету,
Чем гибнуть в чавкающем рту.
И в душной битве, слив уста,
Сквозь Жизни тесные врата
Мы наслаждение пронзим
В его истоке: Солнце сим
Остановить нам не дано,
Но пусть побегает оно.

ГОРАЦИАНСКАЯ ОДА НА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРОМВЕЛЯ ИЗ ИРЛАНДИИ

Стремясь издаться в наши дни,
Оставить должно муз в тени
И не вздыхать о девах,
Узрев, что их не девять.
Не пыль, как с полки — книгочей,
Стирать; но ржавчину с мечей

Пора, сменив халат
На блеск парадных лат.
И Кромвель наш, презрев сию
Бездарность мирных лир, свою
Звезду, как жало бритвы,
Повел сквозь хаос битвы.
Так жгучей молнии игла,
Пронзила тучи, где жила,
Слепит, ломаясь, зрак,
Разя трезубцем мрак.
Коль сердце доблести полно,
Соперник, враг ли — все одно.
И битва в самой гуще
Единоборства пуще.
Как огнь небес, разящий зло,
Пронзил он замки и чело
Монарха, наконец —
Сквозь лавровый венец.
Куда бежать, лицо храня
Рукой от вышнего огня?
И если молвить строго,
Тому воздастся много,
Кто, живши праведным трудом
В своем саду, как будто в том
Призванья высший род,
Чтоб вывесть Бергамот,
Взяв как орудие одну
Лишь доблесть, древнюю страну
Отлить в короткий срок
В другую форму смог.
Что ж, прежних прав горька судьба:
Вещь гибнет, ежели слаба
Рука, но вещь хранится,
Пока сильна десница.
Природе, паче пустоты,
Претят пронырства, суеты
И всех она сметет,
Коль высший Дух грядет.

Полей Гражданских войн среди
Где не был ранен он, найди,
　　А Хэмптон нашим взорам
　　Явил тот дар, с которым
Он из надежд и страхов сеть
Такую сплел, что Чарлз, как в клеть
　　Попался в Кэрисбрук,
　　Где оказался вдруг,
На эшафот поднявшись, он —
Как Царственный Актер, почтен
　　Воинственной оравой
　　Овацией кровавой.
Но он в натурализма грех
На памятных подмостках тех
　　Не впал, лишь острый взор
　　Знал, сколь топор остер.
С вульгарной злостью к небесам
О мщеньи не воззвав, он сам
　　Склонил чело без дрожи
　　На плаху, как на ложе.
Так в первый раз тот скорбный час
Власть силы возвестил для нас.
　　Так римляне уже,
　　Когда лишь в чертеже
Был Капитолий, ком земли
Взяв первый, голову нашли,
　　Но кровь признали эту
　　За добрую примету.
А здесь ирландцев стыд грызет,
Что за год покорил их тот,
　　Чей мозг и мощь руки
　　Суть равновелики.
Но пусть он их завоевал,
Им первым ясно, что похвал
　　Сих, право же, достоин
　　Столь справедливый воин.
Республики Слугу, числа
Несть коим, власть не потрясла.

To proud to die..

Его, кому вся власть —
Повиновенья часть.
И королевство, как налог
Свой первый, он сложил у ног
Народа, честь и славу
Ему отдав по праву.
И меч свой, и его трофей
Вручил он, сняв, стране своей;
Вот так из туч стремглав
На жертву сокол пав
Не вырвет для себя куска,
Но кружится вблизи, пока
Охотник, птицу клича,
Не подберет добычу.
Что днесь не может остров наш?
И сколь страшится, зря плюмаж
Стольких его побед,
Его любой сосед?
Увидит Цезаря в нем галл,
Он италийцам — Ганнибал,
Застывшим в рабстве странам
Он явится тараном.
Себе приюта Пикт — и тот
В двуличных мыслях не найдет,
И станет, прячась в плед,
Молиться, чтобы след
Охотник Английский не взял
В чащобах сих и не послал
За Каледонским в гору
Оленем гончих свору.
Дитя Удачи! Сын Войны!
Вперед! И меч не прячь в ножны!
Да будет ввек сиять
Сей меч, чья рукоять
Кресту подобно гонит прочь
Дух Тьмы, чревата коим ночь:
Кто более, чем светоч,
В оттенках краски сведущ?

ДЖОН ДОНН

ПРОЩАНЬЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ГРУСТЬ

Как праведники в смертный час
Стараются шепнуть душе:
“Ступай!” — и не спускают глаз
Друзья с них, говоря “уже”

Иль “нет еще” — так в скорбный миг
И мы не обнажим страстей,
Чтоб встречи не принизил лик
Свидетеля Разлуки сей.

Землетрясенье взор страшит,
Ввергает в темноту умы.
Когда ж небесный свод дрожит,
Беспечны и спокойны мы.

Так и любовь земных сердец:
Ей не принять, не побороть
Отсутствия: оно — конец
Всего, к чему взывает плоть.

Но мы — мы, любящие столь
Утонченно, что наших чувств
Не в силах потревожить боль
И скорбь разъединенных уст, —

Простимся. Ибо мы — одно.
Двух наших душ не расчленить,
Как слиток драгоценный. Но
Отъезд мой их растянет в нить.

Как циркуля игла, дрожа,
Те будет озирать края,

Где кружится моя душа,
Не двигаясь, душа твоя.

И станешь ты вперяться в ночь
Здесь, в центре, начиная вдруг
Крениться, выпрямляясь вновь,
Чем больше или меньше круг.

Но если ты всегда тверда
Там, в центре, то должна вернуть
Меня с моих кругов туда,
Откуда я пустился в путь.

ШТОРМ

Г-ну Кристоферу Бруку

Ты, столь подобный мне, что это лестно мне,
Но все ж настолько "ты", что этих строк вполне
Достаточно, чтоб ты, о мой двойник, притих,
Узнав, что речь пойдет о странствиях моих, —
Прочти и ощутишь: зрачки и пальцы те,
Которы Хилльярд мнил оставить на холсте,
Пустились в дальний путь. И вот сегодня им
Художник худших свойств, увы, необходим.

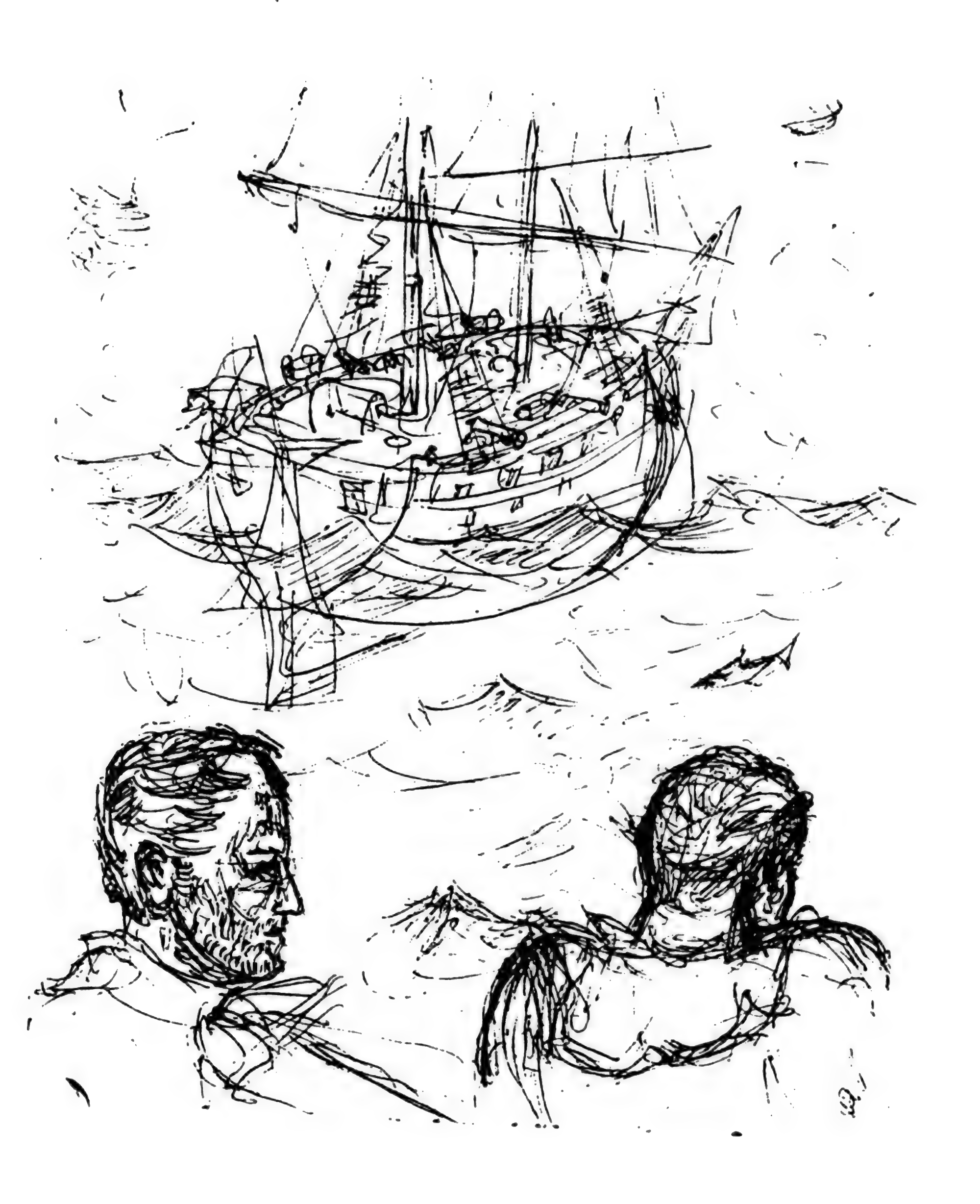
Английская земля, что души и тела,
Как в рост ростовщики, нам только в долг дала,
Скорбя о сыновьях своих, в чужом краю
Взыскующих Судьбу, но чаще — Смерть свою,
Вздохнула грудью всей — и ветер поднялся.
Но, грянувшись вверху о наши небеса,
Он устремился вниз и, поглядев вперед,
Узрел в большом порту бездействующий флот,
Который чах во тьме, как узники в тюрьме.
И он стремительно приблизился к корме.

И наши паруса набухли и взвились.
И мы, на палубах столпясь, смотрели ввысь.
И радовала нас их мощь и полнота,
Как Сарру зрелище большого живота!

Но, добрый к нам тогда, он, в общем, не добрей
Способных бросить нас в глуши поводырей.
И вот, как два царя объединяют власть
И войско, чтоб затем на третьего напасть,
Обрушились на нас внезапно Зюйд и Вест.
И пропасти меж волн разверзнулись окрест.
И смерч, быстрей, чем ты читаешь слово "смерч",
Напал на паруса. Так выстрел, шлющий смерть
Без адреса, порой встречает чью-то грудь.
И разразился шторм. И наш прервался путь.

Иона, жаль тебя! Да будет проклят тот,
Кто разбудил тебя во время шторма. От
Больших напастей сон, подобно смерти, нас
Спасает, не убив. Тебя же сон не спас.
Проснувшись, я узрел, что больше я не зрю.
Где Запад? Где Восток? Закат или зарю
И Солнце и Луну кромешный мрак скрывал.
Но был, должно быть, День, коль Мир существовал.

И тыщи звуков в гул, в единый гул слились,
Столь розны меж собой, все Бурею звались.
Лишь Молнии игла светила нам одна.
И дождь, как океан, что выпит был до дна,
Лился с небес. Одни, в каютах лежа без
Движенья, звали смерть, взамен дождя, с небес.
Другие лезли вверх, чтоб выглянуть туда,
Как души — из могил в день Страшного суда,
И вопрошали мрак: "Что нового?" — как тот
Ревнивец, что, спросив, ответа в страхе ждет.
А третьи в столбняке застыли в люках враз,
Отталкивая Страх огнем безумных глаз.
Мы видели тогда: смертельно болен Флот.



Знобило мачты. Трюм развиливался от
Водянки ледяной. А дряхлый такелаж,
Казалось, в небесах читает “Отче наш”.

Лохмотья парусов полощутся во мгле,
Как труп, что целый год болтается в петле.
Исторгнуты из гнезд, как зубы из десны,
Орудья, чьи стволы нас защищать должны.
И нет в нас больше сил откачивать, черпать,
Выплевывать затем, чтоб всасывать опять.
Мы все уже глухи от хаоса вокруг.
Нам нечего сказать, услышь мы новый звук.

В сравненье с штормом сим любая смерть — понос,
Бермуды — Райский сад, Геенна — царство грез.
Мрак — света старший брат — во всей своей красе
Тщедушный свет изгнал на небеса. И все,
Все вещи суть одна — чья форма не видна.
Все формы пожрала Бесформенность одна.
И если во второй Господь не скажет раз
Свое “Да будет”, знай — не будет Дня для нас!
Столь страшен этот шторм, столь яростен и дик,
Что даже в мыслях грех воззвать к тебе, двойник.

О СЛЕЗАХ ПРИ РАЗЛУКЕ

Дай слезы мне
Лить пред тобой, пока еще мы рядом.
И каждую чекань печальным взглядом:
Клейменные и ценятся вдвойне.
Плодам на древе,
Хранящим в своем горьком чреве
Огромный образ дерева сродни,
Тебя роняют, падая, они.
Не плачь же! и меня в слезах не оброни.

Из пустоты
Чеканщик создает подобье мира,
На круглый шар с искусством ювелира
Трех континентов нанося черты.
Вот так же в каждой
Слезе твоей я сталкиваюсь с жаждой
Стать целым миром — с обликом твоим;
Мой небосвод из черт твоих творим.
Не плачь, чтоб в смешанных слезах не сгинуть им.

Сродни Луне
О не усугубляй прилива горя!
Не научай своим объятьям моря
Итак неравнодушного ко мне.
Тоской своею
Не подавай дурной пример Борею,
Чтоб не вздымался, яростен и лих.
Жестока вздохов глубина твоих,
Коль воздух нам один отпущен на двоих.

ПОСЕЩЕНИЕ

Когда твой горький яд меня убьет,
Когда от притязаний и услуг
Моей любви отделаешься вдруг,
К твоей постели тень моя придет.
И ты, уже во власти худших рук,
Ты вздрогнешь. И, приветствуя визит,
Свеча твоя погрузится во тьму.
И ты прильнешь к соседу своему.
А он, уже устав, вообразит,
Что новой ласки просишь, и к стене
Подвинется в своем притворном сне.
Тогда, о бедный Аспид мой, бледна,
В серебряном поту, совсем одна,
Ты в призрачности не уступишь мне.

Проклятия? В них много суеты.
Зачем? Предпочитаю, чтобы ты
Раскаялась, чем черпала в слезах
　　Ту чистоту, которой нет в глазах.

БЛОХА

Узри в блохе, что мирно льнет к стене,
В сколь малом ты отказываешь мне.
Кровь поровну пила она из нас:
Твоя с моей в ней смешаны сейчас.
Но этого ведь мы не назовем
Грехом, потерей девственности, злом.
　　Блоха, от крови смешанной пьяна,
　　Пред вечным сном насытилась сполна;
　　Достигла больше нашего она.

Узри же в ней три жизни и почти
Ее вниманьем. Ибо в ней почти,
Нет, больше чем женаты ты и я.
И ложе нам, и храм блоха сия.
Нас связывают крепче алтаря
Живые стены цвета янтаря.
　　Щелчком ты можешь оборвать мой вздох.
　　Но не простит самоубийства Бог.
　　И святотатственно убийство трех.

Ах, все же стал твой ноготь палачом,
В крови невинной обагренным. В чем
Вообще блоха повинною была?
В той капле, что случайно отпила?..
Но раз ты шепчешь, гордость затая,
Что, дескать, не ослабла мощь моя,
　　Не будь к моим претензиям глуха:
　　Ты меньше потеряешь от греха,
　　Чем выпила убитая блоха.

ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ ЛЕДИ МАРКХЭМ

Смерть — Океан, а человек — земля,
Чьи низменности Бог предназначает для
Вторжения сих вод, столь окруживших нас,
Что, хоть Господь воздвиг предел им, каждый раз
Они крушат наш брег, с сознаньем полных прав;
Захлестывают нас, у нас друзей забрав.
Тогда и материк потоки скорбных вод
Рождает из себя; тогда и небосвод
Клубится над землей, как скомканный платок
Рыдающей души; и смешанный поток
Несется в океан средь гробовых камней:
Чем ближе цель сих вод, тем вкус их солоней.
Но слезы, смывши грех, тем самым — сами грех.
За Божьим Ноем вслед, мы топим мир; из всех
Рептилий человек всех больше ядовит:
Посредством скрытых жал он сам себя язвит.
Как скверные очки, рыданий пелена
Мешает нам постичь, где — мы и где́ — она;
Смерть, взяв ее от нас, не перешла границ.
Так волны, гнев сокрыв, с искусством кружевниц
На скользкий стелют брег лишь кружево свое;
Так хладной дланью смерть украсила ее.
Как, глину в печь вложив, оттоль спустя века
Китайцы извлекут фарфор наверняка,
Так из гробницы сей, из сумрачных глубин,
Где плавятся Сапфир, Брильянты и Рубин,
(Что были плотью ей) улучшенную плоть,
Но с прежнею душой, Своей рукой Господь,
Спалив наш грешный мир, из пепла извлечет
И Мерой Всех Вещей на свете наречет.
Да! Море, грабя нас, теряет часть себя.
Смерть тела — младший брат, в пучине плоть губя,
Дает простор душе, а той страшней стократ
Погибель от греха, иначе — старший брат;
Но оба терпят крах, взяв праведника в плен:
Не согрешит мертвец, и уж подавно — тлен.
Се, братьев тех лишась, она бредет в тиши.
Что значит грех земной для неземной души?

Не смертны в мире те, смерть не нужна кому.
Она, и уходя, идет, как свет по тьму.
Так Добродетель в ней была всегда сильна,
Что Грех могла жалеть отвергнутый она;
Чистейшей белизне мельчайших пятен жаль!
Единой каплей яд, увы, дробит хрусталь!
Греша лишь для того, чтоб доказать: верны
Библейские слова, что вправду "все грешны",
Так совести она простерла рубежи,
Что истине ума недоставало лжи,
Обмолвки чьи кладут легчайшую печать
Греха на вещь — чтоб вещь нам лучше различать.
Как Херувимы те, при скорости их всей,
Которых окрылил в ковчеге Моисей,
Она и в небесах стремится дальше, ввысь,
По лестнице из слез, что ныне пролились.
Столь Господу она явилась по душе,
Что за поспешность Смерть себя клянет уже.
О том же, сколь мила была всем нам она,
На титлы несмотря, мягка, добра, умна,
Опровергая сим ту ересь, будто не
Способен нежный пол на дружбу — лучше мне
Смолчать о сумме всех ее Достоинств здесь,
Чтоб старой не сочли ее и — если спесь
Со Смерти, что горда добычею, не сбить —
Чтобы ее триумф нам не усугубить.

ЗАВЕЩАНИЕ

Пред тем, как в смертный час произнести "Прости",
Позволь мне кое-что, Любовь, произнести
Насчет наследства. Завещаю аз
В дар Аргусу стоглазу пару глаз,
Коль зреть им суждено, когда ослепну я;
Коль нет, их слепоту — тебе, любовь моя.
Язык — Молве, мой слух — шпионящим послам,
А слезы — женщинам или морским волнам.
Ты, о Любовь, той вверив наугад,

В чьем сердце равных мне, как в океане — гад,
Учила тем давать, кто чересчур богат.

Светилам и телам небесным отдаю
Я постоянство. Искренность свою —
Иезуитам, знатокам души,
И капуцинам — все мои гроши.
Пусть верность заберет придворный приживал.
Немногословность же всем тем, кто побывал
За рубежом, с готовностью отдам.
Свою задумчивость дарю шутам.
Ты, о Любовь, с той выдумав связать,
Чье сердце вообще бессильно осязать,
Учила тем давать, кто неспособен взять.

Католик, веру в дар я Римской церкви шлю.
А сумму добрых дел раскольникам велю
Доставить в их любезный Амстердам.
Учтивость и приветливость отдам
В любой колледж, известный нынче мне,
Преподавателям. А скромность — солдатне,
Что так же нужно ей, как цифры — букварю.
Свое терпение картежникам дарю.
Ты, о Любовь, ту выбрав целью мне,
Кому моя любовь была чужда вполне,
Тем учишь слать дары, кому претят оне.

Кто был мои друзья, тем завещаю сим
Я репутацию свою. Врагам своим —
Прилежность. А сомнения свои
Вверяю вам, учителя мои.
Излишествам, врачам — болезни, смерти страх.
Природе — все, что мной написано в стихах.
Эпохе и стране, над коей ночи тьма —
Находчивость и остроту ума.
Ты, о Любовь, судив, чтоб сердце завещал
Той, образ чей мою Любовь предвосхищал,
Звала дарами мнить все то, что возвращал.

Тому, по ком в ночи последний раз
Ударит колокол, я жертвую сейчас
Труды по анатомии. В Бедлам —
Моих бесплодных проповедей хлам.
Коллекцию монет изысканную, где
Есть древнеримские — томящимся в нужде.
И тем, кто счастье за морем привык
Искать себе, — мой английский язык.
Тот, о Любовь, заставлю чтить сосуд,
Которому милей молокососов блуд.
Твори ж моим дарам такой же мерзкий суд.

Поэтому дарить отказываюсь впредь,
Но целый мир убью, поскольку умереть —
Вселенную разрушить навсегда.
Тебя, Любовь, подавно. И тогда
Все прелести твои не больше восхитят,
Чем золото в копях, где рыться не хотят.
И будут не нужней здесь все твои красы,
Чем мертвому песочные часы.
Ты, о Любовь, ту повелев любить,
Кому с тобой и мной равно противно быть,
Принудила к тому, чтоб всех троих убить.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты стихотворений Иосифа Бродского печатаются по авторским сборникам: "Остановка в пустыне", изд.имени Чехова, Нью-Йорк, 1970; "Конец прекрасной эпохи", Ардис/Анн Арбор, 1977; "Часть речи", Ардис/Анн Арбор, 1977; "Новые стансы к Августе", Ардис/Анн Арбор, 1983; "Урания", Ардис/Анн Арбор, 1987; "Примечания папоротника", Hylaea, 1990; "Часть речи. Избранные стихи 1962- 1989", Москва, «Художественная литература», 1990; "Стихотворения", Таллинн, Eesti Raamat, 1991; а также по публикациям в журналах "Время и Мы", № 17, 1977 и "Эхо", № 1, 1978. Впервые публикуемые стихотворения печатаются по самиздатскому "Собранию сочинений" в четырех томах под редакцией Владимира Марамзина.

В четвертом разделе книги впервые предпринимается попытка обобщить корпус переводов Бродского, созданных им на протяжении более чем тридцати лет. Наибольшая интенсивность работы Бродского-переводчика приходится на отечественный период его биографии, когда у молодого поэта сохранялась еще, очевидно, надежда жить нормальным литературным трудом. "Уход в переводы" служил тогда отдушиной для многих талантливых стихотворцев. Во всех, даже самых "подённых" переводных сборниках, в которых принимал участие Бродский, его имя соседствует не только с именами "ахматовских сирот" (Рейна, Наймана, Бобышева), но и с именем самой Ахматовой, Пастернака, Тарковского, Самойлова, Слуцкого, Окуджавы и многих других. Первая публикация переводов Бродского в книге "Заря над Кубой" (1962) совпала с первой публикацией его детского стихотворения "Баллада о маленьком буксире" в журнале "Костер" (№ 11, 1962). Редчайшие отечественные публикации "взрослых" стихов произошли гораздо позднее ("Молодой Ленинград", 1966 и "День Поэзии", 1967).

Установление границы между переводами, выполненными Бродским "для души" и теми, посредством которых он пытался зарабатывать себе на жизнь, представляется занятием достаточно риско-

ванным. С определенностью можно сказать одно: большая часть первых оставалась до недавнего времени неопубликованной и сохранилась в неосуществленном проекте 5-го тома Марамзинского "Собрания сочинений", либо в архивах друзей поэта. В силу того, что работа над томом переводов Марамзинского "Собрания" не была завершена и существующие копии не являются, следовательно, авторитетными текстологическими источниками, предпочтение при подготовке к публикации отдавалось авторизованной машинописи из собраний друзей поэта (источники указаны в каждом конкретном случае).

КОНСТАНТИН КАВАФИ

Интерес к творчеству Кавафи проявился у Бродского еще в 60-е годы, тогда же были предприняты первые попытки перевода, сохранившиеся в рукописях. Публикуемые переводы взяты из мемориального Литературного приложения № 7 к газете "Русская мысль" (№ 3750, от 11 ноября 1988г.), посвященного памяти Геннадия Шмакова — блестящего филолога и близкого друга Бродского. Бродский завершил прерванную смертью Шмакова работу над переводами. Степень его участия в них скорее может быть определена как "сотворчество". Значительный интерес представляет сопоставление замыкающего подборку стихотворения "Дарий" с выполненным ранее переводом Бродского, сохранившимся в машинописи. Приводим начальную версию:

Поэт Ферназис трудится над главной
главой своей эпической поэмы
о том, как Дарий, сын Гистаспа, стал
властителем в большой державе персов.
(И Митридат наш, чтимый как Евпатор
и Дионис, в цари помазан им.)
Однако, тут необходим анализ,
анализ чувств, владевших им в ту пору.
Высокомерье? Алчность? Вряд ли: Дарий
не мог не видеть суетность величья...
Ферназис погрузился в размышленья...

Но плавный ход сих мыслей прерывает
слуга, вбежавший с горестным известьем:
Война! Мы выступили против римлян.
Войска уже пошли через границу.

Ферназис ошарашен. Катастрофа.
Теперь наш славный Митридат, столь чтимый
как Дионис и как Евпатор, вряд ли
прочтет его стихи. В разгар войны
не до стихов какого-то там грека.

Поэт подавлен. Что за невезенье?
Ведь он считал, что "Дарий" даст ему
возможность отличиться и заткнуть
раз навсегда рты критиков и прочих
врагов... Какое нарушенье планов!

Но если б только нарушенье планов.
Но как мы сможем защитить Азимус?
Ведь это плохо укрепленный город.
На свете нет врагов страшнее римлян.
Что противопоставить можем мы,
каппадокийцы? Мыслимо ли это?
Как нам сражаться против легионов?
О, боги, боги! Защитите нас.

Однако среди этих треволнений
и вздохов поэтическая мысль
упорно продолжает развиваться.
Конечно, алчность и высокомерье.
Он абсолютно убежден, что Дарий
был просто алчен и высокомерен.

Бродскому принадлежит эссе "On Cavafy's Side"("The New York Review", 17 February 1977, pp.32-34); русский перевод Алексея Лосева — "На стороне Кавафи", в парижском журнале "Эхо" № 2, 1978.

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

Литовский поэт Томас Венцлова (р.1937) — друг и частый адресат поэзии Бродского. Творческая перекличка такой глубины и интенсивности уже сама по себе является фактом уникальным. Венцлова принадлежит перевод на литовский язык таких известных стихотворений Бродского, как "Большая элегия Джону Донну", "К Ликомеду, на Скирос", "Остановка в пустыне", "Эней и Дидона", "Одиссей Телемаку" и ряда других.

Перевод стихотворения "Памяти поэта. Вариант" опубликован в № 9 журнала "Континент", 1976 г., сс.5-6 и перепечатан в № 12 "Дружбы народов" за 1989 г., с.5-6. Сам Венцлова так говорит об этом стихотворении: "...слово "вариант" в заглавии указывает на некоторую зависимость этой вещи от эпитафии Бродского Элиоту (и далее, от эпитафии Одена Йейтсу). Перевод Бродского очень свободен и, несомненно, лучше оригинала. Полагаю, эта публикация сыграла немалую роль в моей судьбе, так как резко ускорила мой отъезд из СССР." ("Развитие семантической поэтики. Интервью Валентины Полухиной с Томасом Венцлова" в кн. "Brodsky Through the Eyes of his Contemporaries", «The Macmillan Press», London, 1992; русская версия — "Бродский глазами современников", «Миф», Москва, 1992). В настоящей публикации восстановлен эпиграф из Мандельштама, имеющийся в оригинальном тексте Венцлова.

Впервые публикуемый перевод стихотворения "Песнь одиннадцатая", по мнению Венцлова "точный и хороший", любезно предоставлен автором специально для настоящего издания.

Расширить представление о диалоге Бродского и Венцлова можно, ознакомившись со следующими работами: Томас Венцлова, статья о Бродском, написанная по случаю его 40-летия, "Новый Американец", 23-29 мая 1980, с.9; Томас Венцлова, "Литовский дивертисмент" Иосифа Бродского", в кн. "The Third Wave: Russian Literature in Emigration", Ann Arbor, 1984, pp.181-201; Tomas Venclova, "Unstable Equilibrium: Eight Russian Poetic Texts", New Haven, 1986; Томас Венцлова, "Чувство перспективы", разговор с

Иосифом Бродским, “Страна и мир”, № 3, 1988, с.143-154; Иосиф Бродский, “Поэзия как форма сопротивления реальности”, предисловие к сборнику стихов Томаса Венцлова в переводах Станислава Баранчака на польский “Rozmowa w zimie” (Paris, 1989), опубликовано по-русски в посвященном 50-летию Бродского Специальном приложении к “Русской мысли” от 25 мая 1990, с.I, XII; Tomas Venclova, “A Journey from Petersburg to Istanbul”, в кн. “Brodsky's Poetics and Aesthetics”, eds. Lev Loseff and Valentina Polukhina, «The Macmillan Press», London, 1990; Рамунас Катилюс, “Иосиф Бродский и Литва”, “Согласие”, № 24, 11-17 июня 1990 г.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

Лауреат Нобелевской премии (1980 г.) польский поэт Чеслав Милош (р. 1911) по мнению Бродского является “едва ли не величайшим поэтом современности”(Иосиф Бродский, “Сын века”, пер. с англ. Льва Штерна, “Новый Американец”, 9-14 октября 1980, с.7). Перевод стихотворения “Элегия Н.Н.” печатается по “Новому Американцу” (ук. стр.); ранее опубликован в № 8 “Континента”, 1976 (“Польские поэты в переводах Иосифа Бродского” с.7-11). Переводы стихотворений “Стенанья дам минувших дней”, “Посвящение к сборнику “Спасенье” (из книги “Спасенье”, 1945); “Дитя Европы”(из книги “Дневной свет”, 1953); “По ту сторону”(из книги “Заколдованный Гутя, 1965) и “Счастливец” (из книги “Гимн о Жемчужине”, 1982) были опубликованы в сборнике “Руссика-81”, Russica Pubs., New York, 1982, pp.15-20 и перепечатаны в № 5 “Иностранной литературы” за 1991 г., с.195-203.

Милошу принадлежит рецензия на “Часть речи” Бродского (“A Struggle against Suffocation”, “The New York Review”, 14 August 1980, pp. 214-18; русский перевод А,Батчана и Н.Шарымовой в № 4/5 альманаха “Часть речи”, 1983/4, “Серебряный век”, Нью-Йорк, 1984, с.169-180).

ЦИПРИАН КАМИЛЛ НОРВИД

Норвид (1821-1883) — один из любимейших поэтов Бродского в чрезвычайно высоко оцениваемой им польской поэзии. Интерес Бродского к польской поэзии пробудился очень рано, в начале 60-х годов. Количество переводов с польского, который Бродский специально выучил, сопоставимо только с переводами с любимого им английского. Публикуемые переводы были выполнены для книги "Циприан Норвид. Стихотворения", М., «Худ.Лит.», 1972 ("В альбом", с.62-65; "Песнь Тиртея", с.120-121), но опубликованы под именем Владимира Корнилова. На Бродском уже было табу, и его друзья пытались таким образом материально поддержать родителей поэта.

Оба стихотворения относятся к периоду работы Норвида над трагедией "Тиртей" (позднее — драма "За кулисами"). Имеется значительное различие между опубликованным текстом стихотворения "В альбом" и экземпляром авторской машинописи из собрания М.И.Мильчика. В силу того, что в процессе работы над книгой не исключена была возможность посторонней редакторской правки, стихотворение публикуется по машинописному варианту. Приводим основные разночтения:

1.

"Помимо женщин, съевших мандрагору
В тоске по детям, близких к исступленью,
Помимо Данта, кроме Пифагора,
И я был в Лимбе... помню, к сожаленью!"

4. 3-я строка:

"А не вращаться в мертвой точке вовсе"

9.

"Что в битве стрелок с Вечностью потеря
Есть большая: мгновение ли, год ли?
Самим себе и времени не веря,
Одна другой оказываясь подле,"

10.

“Не в колокол свиданья, но разлуки
Звонят они, стать выше возомнивши
Иронии, пульсирующей в звуке:
Хоть век звони, не по себе звонишь ты,”

16. 3-4 строки:

“Под грудой пепла — зернышко алмаза,
Залог твоей победы вековечной!..”

19.

“По шляху, распростершемуся, мнится,
Меж странами и временем припустим.
Пространство там покажется... границей,
А небосвод наш — пыльным захолустьем.”

Стихотворение “Песнь Тиртея” печатается по книжному варианту. Приводим разночтения с авторской машинописью из собрания М.И.Мильчика:

строка 10:

“Сокол, делящийся ранним”

строки 17-19:

“не распинал он несчастную Оду,
Полчищам фурий несметным,
Деву его охранявшим, в угоду —”

строка 25:

“С Богом Аида сдружившись охотно”

строки 29-32:

“Кедры пустыня бескрайняя родит.
Быть пустотой — не постыдно.
И песновидец великий приходит,
Если великих не видно."

По некоторым данным, перу Бродского принадлежит также опубликованный в книге под именем Корнилова перевод стихотворения "Посвящение"(с.118-119), являвшийся по мысли Норвида посвящением к трагедии "Тиртей". Однако принадлежность этого перевода Бродскому сомнительна из соображений чисто эстетического порядка. Редактор книги Ю.М.Живова вспоминает, что Бродский для этого издания выполнил также перевод стихотворения "Моя отчизна", но вместо него был опубликован перевод С.Свяцкого (с.57-58). Перевод Бродского не найден.

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

Творчество Галчинского (1905-1953) было чрезвычайно важным для Бродского в его ранний, "романтический" период. По воспоминаниям очевидцев, Бродский часто читал на поэтических вечерах переводы "Заговоренных дрожек" и "Песни о зна́мени", неизменно покоряя своей экспрессией зал. За исключением "Песни о знамени", переводы Галчинского, выполненные Бродским, были опубликованы еще в отечественный период его биографии, причем существенных разночтений между машинописным текстом и напечатанным (кроме "Заговоренных дрожек") не встречается.

"Анинские ночи" воспроизводится по тексту в кн. "Константы Ильдефонс Галчинский. Стихи", «Худ.Лит.», М., 1967, с.70-71.

"Заговоренные дрожки" опубликованы в кн. Галчинского (с.106-113) со значительными искажениями. Позже перевод подвергся переработке. Текст публикуется по принадлежащему М.И.Мильчику экземпляру книги Галчинского, на котором рукой Бродского произведена правка. Приводим основные разночтения. В книжном варианте:

1. Отсутствуют строки 32-33;
строки 41-44:

"Листья швыряет ветер
горстями в ночь полнолунья.

А может быть, дрожки эти
я заказал накануне?"

2. в следующей редакции:

"С улицы Венеции к Суконному ряду
Артур и Ронард под белые руки —
меня провожали по спящему граду.
Кружились безумные переулки.

Жутко идти через ночной Краков..."

3. Отсутствуют строки 13-14;

строка 16: "где от жарких свеч невмочь..."

4. вместо строк 10-12:

"Все, что было в той телеграмме,
я увидел своими глазами.
Над башней Марьяцкою свет кружит,
а у коня, представьте, обычные уши!"

5. строка 2: "ветер на гриву белую веет"

вместо строк 6-10:

"Рядом с невестой моряк восседает.

Моряк — прохвост — соблазнил девицу.
Думал: жениться, а после смыться.
Смылся.
Но кит его слопал в море.

Девица потом умерла от горя, "

вместо строк 13-18:

> “сила любви — это чудо господне
> соединила их...
>   И сегодня
> в дрожках заговоренных мчатся
> жених с невестой, чтоб обвенчаться
> этой же ночью в капелле бедной.”

6. вместо строк 3-6:

> “парни потчуют друг дружку,
> пиво пьют за кружкой кружку,”

“Заговоренные дрожки” построены Галчинским по законам сюиты и каждая главка снабжена музыкальными терминами, указывающими на темп исполнения: 1. Allegro — быстро; 2. Allegro sostenuto — быстро, но сдержанно; 3. Allegretto — не очень быстро; 4. Allegro ma non troppo — не слишком быстро; 5. Allegro cantabile — быстро, певуче; 6. Allegro furioso alla polacca — неистово быстро, по-польски (шуточный музыкальный термин, изобретенный Галчинским).(итал.)

“Маленькие кинозалы” — с.122-124 в книге Галчинского.

“Конь в театре” — с.242-244 в книге Галчинского, позже перепечатано в кн. “Высокие деревья”, М., «Детская литература», 1969, с.178.

“В лесничестве” — в кн. “Современная польская поэзия”, М., «Прогресс», 1971, с.80-81.

“Песня о знамени” публикуется впервые по машинописи 5-го тома Марамзинского собрания.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

“Новогодняя ночь” Витезслава Незвала (1900-1958) публикуется по машинописи Марамзинского собрания.

УМБЕРТО САБА

Все переводы Умберто Саба (1883-1957) публикуются по авторизованной машинописи из собрания М.И.Мильчика.

САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО

Сальваторе Квазимодо (1901-1968) — лауреат Нобелевской премии 1959 г.

Перевод стихотворения “В притихших этих улочках...” печатается по кн. “Ярость благородная. Антифашисткая поэзия Европы”, «Худ.Лит.», М., 1970, с.276-277.

“Пятнадцать с площади Лоретто” публикуется по машинописи Марамзинского собрания.

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

“Павшим за Союз” — классическое стихотворение крупнейшего американского поэта XX века Роберта Лоуэлла (1917-1977), неоднократно переводившееся на русский язык. Перевод Бродского печатается по машинописи Марамзинского собрания.

Relinquunt Omnia Servare Rem Publicam — “Оставили все, чтобы отдать себя служению республике”(латин.) — слегка измененная Лоуэллом надпись на памятнике полковнику Шоу. В оригинале

глагол стоит в единственном числе: Reliquit omnia..., т.е. "Оставил все..."

РИЧАРД УИЛБЕР

Переводы Ричарда Уилбера (р.1921) были подготовлены Бродским для "Иностранной литературы" в 1971 г. и опубликованы в ней же в № 10 за 1990 г. (стр.49-54) с послесловием самого Уилбера.

"После последних известий", "Голос из-под стола", "Животные", "Барочный фонтан в стене на Вилла Скьяра" и "Черный индюк" (из книги "Земное", 1956) печатаются по этой публикации, с учетом машинописи Марамзинского собрания, позволившей внести ряд незначительных изменений.

"Барочный фонтан...": Карло Мадерна (1556-1629) — римский архитектор, автор фонтанов на площади перед собором св.Петра в Риме. Areté — греческое слово, обозначающее доблесть, добродетель. Франциск — Св.Франциск Ассизский (1181 или 1182- 1226). Легенды о нем собраны в анонимном сборнике "Цветочки Св.Франциска Ассизского".

"Шпион" публикуется по авторизованной машинописи из собрания Я.А.Гордина.

Известна работа Бродского "On Richard Wilbur"("The American Poetry Review" January/February 1973, p.52).

ХАИМ ПЛУЦИК

"Горацио"(1961) американского поэта Хаима Плуцика (1911-1962) повествует о путешествии героя по Европе после гибели принца Гамлета. II и III главы, переведенные Бродским, публикуются по машинописи из собрания Я.А.Гордина.

ЭНДРЮ МАРВЕЛЛ

В конце 60-х годов Бродский подписал с издательством «Наука» договор на подготовку тома английских поэтов-метафизиков для серии "Литературные памятники". К этому периоду, вероятно, относится его работа над переводами Марвелла.

"Глаза и слезы" публикуется по авторизованной машинописи из собрания М.И.Мильчика.

"Нимфа, оплакивающая смерть своего фавна" — по авторизованной машинописи из собрания Ромаса Котильоса.

"Застенчивой возлюбленной" и "Горацианская ода" по машинописи Марамзинского собрания, сверенной у Ромаса Котильоса.

ДЖОН ДОНН

Джон Донн (1573-1631) сыграл весьма значительную роль в судьбе Бродского: с него (и с Роберта Фроста) началось знакомство Бродского с англоязычной поэзией, а "Большая элегия Джону Донну" стала началом его поэтической славы. Переводы были выполнены к 1970 году и частично опубликованы в 1988 году в № 9 "Иностранной литературы" ("Шторм", "Посещение", "Блоха", "Прощанье, запрещающее грусть" — стр.176-179). Здесь печатаются по этой публикации с рядом незначительных уточнений.

"Шторм". Кристофер Брук (ум. в 1628) — поэт, юрист, близкий друг Донна. Это стихотворное послание было написано летом 1597 года, когда Донн принимал участие в экспедиции английских кораблей по перехвату испанского "Серебряного флота". Николас Хиллиард (1537-1619) — художник, английский миниатюрист. Ему приписывается известный портрет Донна, гравированный Маршаллом.
"О слезах при разлуке", "Элегия на смерть леди Маркхэм" и "Завещание" публикуются по машинописи Марамзинского собрания.

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕРЕВОДОВ БРОДСКОГО, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЕ СОБРАНИЕ:

"ЗАРЯ НАД КУБОЙ", «ГИХЛ», М., 1962 (Пабло Армандо Фернандес, "Мои уста не скажут", с.140-141 (с исп.)).

"ПОЭТЫ ЮГОСЛАВИИ XIX-XX вв.", «Худ.Лит.», М., 1963 (Милан Ракич, "Желание", с.195; Тин (Августин) Уевич, "Высокие тополя", с.302-303 (с сербскохорват.)).

"ПОЭЗИЯ ГАУЧО", «Худ.Лит.», М., 1964 (Хосе Рамон Луна, "Карнавальные куплеты", с.179-180 (с исп.)).

"МЫ ИЗ XX ВЕКА", «Худ.Лит.», М., 1965 (Тадеуш Кубияк, "Плывущие Вислой", с.151-152 (с польск.); Танасие Младенович, "Весеннее смятение", с.179-181 (с сербскохорват.); Валерий Петров, "Мир", с.203-204 (с болгарск.); Ежи Харасимович, "Партизаны", с.257-258 (с польск.)).

ВИЛЕМ ЗАВАДА, "ОДНА ЖИЗНЬ. СТИХИ И ПОЭМЫ", М., «Прогресс», 1967 ("Дорога пешком"(поэма), с.39-48 (с чешск.)).

"ПОЭЗИЯ АВСТРАЛИИ", М., «Худ.Лит.». 1967 (Флексмор Хадсон, "На Мэлли", "Ночной почтовый на Мэлли", с.216-217; Кристофер Уоллес-Крэбб, "Кладбище автомобилей", с.288-289 (с англ.)).

"ОСТРОВ ЗАРИ БАГРЯНОЙ. КУБИНСКАЯ ПОЭЗИЯ XX ВЕКА", «Худ.Лит.», М., 1968 (Эухенио Флорит, "Четыре песни", "Уверенность", с.130 -132; Анхель Аухьер, "Вечернее", "Понедельник", с.158-159; Вирхилио Пиньера, "Жизнь Флоры", с.173-174; Пабло Армандо Фернандес, "Мои уста не скажут", с.230-231 (с исп.)).

АНХЕЛА ФИГЕРА АЙМЕРИЧ, "ЖЕСТОКАЯ КРАСОТА", М., «Худ.Лит.», 1968 ("Обладание", с.13; "Умереть", с.14; "Усталость", с.22; "Бессилие", с.24; "Пишу на земле", с.80; "Крича и плача...", с.83; "Когда рождается человек", с.92 (с исп.)).

"ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ. АНТИФАШИСТСКАЯ ПОЭЗИЯ ЕВРОПЫ", М., «Худ.Лит.», 1970 (Яннис Айдонопулос, "Письмо другу, больному чахоткой", с.225; Манолис Анагностакис, "Харис, 1944", с.226; Фотис Ангулес, "Истории", "Так мы расстались", с.227-228; София Мавроиди-Пападаки, "Колыбельная времен оккупации", с.235-236 (с греч.). Джорджо Бассани, "Игроки", с.271-272; Коррадо Говони, "...И нужно бы рыдать, да невозможно", с.275; Франко Фортини, "Хор изгнанников", "Европа", с.290-291 (с итал.). Ян Камперт, "Песня восемнадцати казненных", с.297-299; Виктор Е. ван Фрисланд, "Освобождение", с.302-305; безымянный автор, "Голландская песня", с.307-308 (с голланд.)).

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ, "СТИХОТВОРЕНИЯ", М., «Худ.Лит.», 1971 ("В бурю", с.34-35; "Паук", с.36-37; "Полночь", с.39; "Сыч", с.87; "Изгнание из рая", с.215-216; "Станции", с.246-247; "Собор", с.248; "Вестник", с.367-368 (с сербскохорват.)).

"СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ", М., «Прогресс»,1971 (Леопольд Стафф, "Ряска", "Мать", "Речь", "Толстой", с.23-25; Ежи Гарасымович, "Геометрия", "Партизаны", "Зимний день", "В октябре", с.171-173; Ярослав Марек Рымкевич, "Физик", "На смерть неизвестного обывателя", с.189-190 (с польск.)).

"КОСТЕР" № 1, январь 1972, (переводы эстонских детских поэтов: Венда Сыелсепп, "Отчего карандаши стали разными"; Оливия Саар, "Человек с якорем", с.2).

"КОНТИНЕНТ" № 8 (1976), с.7-11, ("Польские поэты в переводах Иосифа Бродского": Александр Ват, "Быть мышью"; Збигнев Херберт, "Дождь").

"ГЛАГОЛ" № 1 (1977), с.153-61, (Джордж Оруэлл, "Убивая слона" (с англ.)).

"ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ", № 1, 1989 (Отар Чиладзе, "Комната", "Тень", "Ожидание", "Прощание", с.96-99 (с грузинск.)).

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, № 10, 1990, (Том Стоппард, “Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Пьеса в трех действиях”, с. 83-135 (с англ.)).

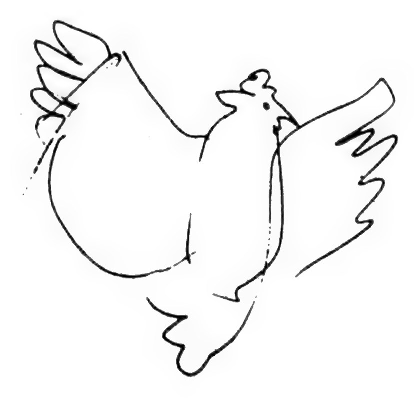
СОДЕРЖАНИЕ:

III. ВЕК СКОРО КОНЧИТСЯ...

IV. ИЗ УСТНОЙ СКОРЛУПЫ...

КОНСТАНТИН КАВАФИ

(переводы с греческого Геннадия Шмакова
под редакцией Иосифа Бродского):



И. БРОДСКИЙ
БОГ СОХРАНЯЕТ ВСЕ.

Редактор В. Куллэ.

Художник П. Барбаринский.

Формат 60×88(1/16). Бумага офсетная.

Гарнитура «Таймс». 19 печ. листов. Тираж 50 тыс.

Цена договорная. Зак. 1585.
Московская тип. № 4. Министерства печати и массовой информации Российской Федерации
129041, Москва, Б. Переяславская, 46.

ИОСИФ БРОДСКИЙ
БОГ СОХРАНЯЕТ ВСЕ